ДОБРЫНЯ ДЕМИДОВ



ШУМ ЗА СТЕНОЙ

ОЧЕРЕДЬ СМЕРТИ 2

18+

Очередь смерти

Добрыня Демидов

Очередь смерти. Книга 2. Шум за стеной

«Автор»
2026

Демидов Д.

Очередь смерти. Книга 2. Шум за стеной / Д. Демидов — «Автор», 2026 — (Очередь смерти)

Александр сбежал из золотой клетки, но свобода оказалась страшнее. В Подземельях, где жизнь продают сотнями мест, а за еду платят днями, беглый наследник Совета чужой для всех. Его ненавидят за фамилию и терпят лишь потому, что он умеет то, чего не умеет никто. Кира по прозвищу Ноль должна была умереть три года назад: её номер дошёл до конца, и над ней висит пустота. Она держится на краденом изотопе и одной цели — найти сервер Очереди и взорвать его. Саша становится её союзником, а потом и чем-то большим. Но по их следу идёт Гончий, вежливый охотник, от которого ещё никто не уходил, а шунт, удерживающий Киру на этом свете, начинает сбоить. Путь к сердцу Очереди лежит через архивы Совета, и правда, спрятанная там, может оказаться страшнее любой погони. Ведь у любви, которой отмерено время, всегда есть цена...

© Демидов Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 14
Глава 3 22
Глава 4 30
Глава 5 40
Глава 6 50
Глава 7 58

Добрыня Демидов
Очередь смерти. Книга 2. Шум за стеной

Глава 1

Гвоздь проснулся от первого же прикосновения к плечу, сразу, целиком, и рука его легла на ружьё раньше, чем открылись глаза. Он посмотрел на меня, потом в дальний угол, на красную точку под потолком, и ничего не спросил. Лицо его в свете догорающих углей стало тяжёлым и тёмным, как камень в стене нарядной.

— Экран в штольне ожил, — сказал я. — Узел сорок два. Ищейки спускаются. Много, сотня, может, больше. Впереди Гончий.

— Видел сам?

— Мы оба видели, — сказала Кира от двери. — Он в камеру смотрел. Прямо на нас.

Гвоздь поднялся, не опираясь на руки, одним движением, и подошёл к двери, и долго смотрел в штольню, где на стене висел погасший экран. Экран был тёмным, пыльным, мёртвым, точно таким же, каким мы его нашли три дня назад, и только тонкая полоска голубоватого света ещё дрожала у нижнего края стекла. Потом погасла и она, и в штольне снова стало черно.

Лиза проснулась сама, без всякого прикосновения. Она села на нарах, подтянув колени, и смотрела то на нас, то на камеру, и я видел, как её правая рука скользнула за пояс, туда, где она носила свой короткий широкий нож. Над ней висело белое число, тридцать семь лет, и в полутьме оно казалось единственной спокойной вещью в нарядной.

— Это что? — спросила она шёпотом, кивнув на красную точку.

— Камера, — сказал Гвоздь. — Работает.

— Тут тока нет.

— Нет, — согласился Гвоздь. — Двадцать лет нет. Я сам тебе говорил.

Он взял ружьё за ствол, подошёл к нарам у дальней стены и встал на них, тяжело, так, что доски застонали под его весом. Камера висела над самой его головой, на ржавом кронштейне, вбитом в породу, и красная точка смотрела теперь не на меня, а на него, и мне показалось, что она чуть повернулась, совсем немного, вслед за его движением. Гвоздь коротко размахнулся и ударил прикладом снизу вверх.

Звук получился глухой, жестяной, как будто ударили по пустому ведру. Посыпались осколки стекла, мелкие, звенящие, и что-то хрустнуло внутри корпуса, и красная точка погасла. Гвоздь постоял ещё немного, глядя на то, что осталось от камеры, потом сплюнул на пол и слез с нар.

— Собирайтесь, — сказал он. — Уходим. Сейчас.

Собирать нам было почти нечего, и сборы заняли меньше минуты. У Гвоздя было ружьё с прикладом в изоленте, старая шахтёрская каска, в которой он носил воду, и мешок с остатками сухарей, которые Ферко передал нам у старого ствола. У Лизы был нож и куртка, туго перетянутая ремнём. У Киры была сумка с ампулами, двенадцать плоских серых коробок, длинный шприц, завёрнутый в чистую тряпку, и старый тяжёлый пистолет с облезлой рукоятью, в котором оставался один патрон.

У меня не было ничего, кроме того, что было на мне. На мне были ботинки Хромого, новые, на размер больше, которые его мать отдала мне в Глухой, и его светлая праздничная рубашка, от подола которой Лиза оторвала полосу мне на перевязку. Записка Марка лежала в нагрудном кармане, под клапаном на пуговице, и я проверил её пальцами левой руки, не расстёгивая, просто чтобы почувствовать под тканью сложенный вдвое листок.

Правую руку я держал на весу, у груди, как держат что-то хрупкое. Под повязкой ладонь горела ровным сухим жаром, и стоило мне чуть согнуть пальцы, как по всей руке до локтя прокатывалась боль, тупая, тянущая, словно в ладонь вбили гвоздь и забыли вынуть. Лиза затянула повязку туго, и я был ей за это благодарен: туго затянутую ладонь труднее сжать.

— Куда? — спросила Лиза, затягивая ремень на куртке.

— В Глухую, — сказал Гвоздь.

— Ты с ума сошёл. — Лиза перестала затягивать ремень и выпрямилась. — Ищейки идут вниз. За ним идут. А ты хочешь привести их к своим? К Ганне, к детям, к Ферко?

— Я хочу своих предупредить, — сказал Гвоздь медленно. — Они там сидят и думают, что всё кончилось. Станции нет, Тихого нет, Ищейки ушли. А Ищейки не ушли. Они вернулись. С сотней. Если Ганну возьмут сонной, с ребёнком, кто ей скажет, за что?

— А если возьмут, потому что мы туда пришли?

Гвоздь ничего ей не ответил. Он стоял посреди нарядной, огромный, с ружьём в руке, и смотрел на Лизу сверху вниз, и борода его в рыжем свете углей казалась почти красной. Потом он перевёл взгляд на меня, и я понял, что он ждёт моего слова, хотя спорит с Лизой.

Я подумал о Ганне, о её ребёнке, о старом Ферко с угольной пылью в морщинах, о матери Хромого, которая отдала мне ботинки сына. Я подумал о трёх десятках людей у костра в выработке над седьмым горизонтом, над каждым из которых висело своё число, белое или жёлтое, и о том, что каждое из этих чисел может оборваться выстрелом, и что каждый выстрел заберёт ещё одного, где-то далеко, первого в очереди. Мне вспомнились слова Лизы в Узле, сказанные без злости, почти устало: за тебя, Александр, ради полмиллиона мест.

— Предупредим и уйдём, — сказал я. — Не останемся там ни часа. Скажем, чтобы уходили глубже, и уйдём сами, в другую сторону. Пусть Ищейки идут за нами, а не за ними.

— За тобой, — поправила Лиза.

— За мной, — согласился я.

Кира молча закинула сумку на плечо и перетянула ремень так, чтобы сумка лежала у неё на спине, плотно, не болтаясь. Она посмотрела на меня, потом на Лизу, потом на тёмный угол, где висела разбитая камера. Лицо у неё было бледное, с синими тенями под глазами, и над ней мерцал серый ноль, то ярче, то бледнее, ровно и спокойно, словно ничего не случилось.

— Решили, — сказала она. — Пошли.

Гвоздь шёл первым, с фонарём из консервной банки, в которой горел огарок, и свет от огарка падал на рельсы, засыпанные серой пылью, на почерневшую деревянную крепь, на низкий потолок. Слепая штольня была сухой, как и три дня назад, и пахло в ней старым деревом и угольной пылью, и ещё чем-то кислым, металлическим, что я так и не научился узнавать. Шаги наши звучали глухо, мягко, тонули в пыли, и только иногда под чьим-то ботинком звякал камешек, отскакивая от рельса.

Я шёл третьим, за Кирой, а Лиза замыкала. Мне было видно, как ровно и экономно идёт Кира, не тратя лишнего движения, как ходят люди, привыкшие беречь силы, и как сумка с ампулами чуть покачивается у неё на спине. За спиной я слышал лёгкие шаги Лизы и её дыхание, ровное, злое, и знал, что она смотрит мне в затылок.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло. Я досчитал до трёхсот шестидесяти, как считал теперь всё время, сам того не замечая, и оно щёлкнуло снова, ровно через шесть минут. Только с тех пор, как я сжал чип Кости в Узле, каждый такой щелчок отзывался в затылке коротким уколом, и иногда, особенно в тишине, мне чудился ещё один, второй, далёкий, которого на самом деле не было.

Тогда я останавливался и прислушивался, и щелчка не было. Это был не сигнал, а память о сигнале, как бывает память о боли в зубе, который уже вырвали. Я шёл дальше, держа правую руку у груди, и думал о том, что теперь буду слышать этот второй щелчок всю жизнь, сколько бы её ни осталось.

Мы прошли поворот, где штольня раздваивалась, и Гвоздь свернул налево, в узкий ход с низким сводом, такой низкий, что ему пришлось пригнуться почти вдвое. В конце хода была старая выработка, широкая, с подпорками из почерневших брёвен, с ржавой вагонеткой, опрокинутой набок. Гвоздь поднял фонарь, оглядываясь, и свет огарка пробежал по стенам, по брёвнам, по ржавому железу.

Под потолком выработки, над вагонеткой, висела камера. Она была такой же, как та, в нарядной, старая, ржавая, на кривом кронштейне, со стеклом, затянутым пылью. Гвоздь посмотрел на неё, и я посмотрел на неё, и мы оба стояли, не двигаясь, и ждали.

Красная точка загорелась, когда Лиза вышла из хода в выработку. Она загорелась не сразу, а словно нехотя, сначала тусклым тёмно-красным пятнышком, потом ярче, ярче, пока не стала маленькой, ровной, яркой, как капля крови на белом. Лиза остановилась у входа, тихо охнула и отступила на шаг назад, в темноту хода, словно камера могла её ударить.

— Она нас ведёт, — сказала Кира тихо. — Видишь? Мы вошли — она загорелась.

— Вижу, — сказал Гвоздь.

Он не стал разбивать её прикладом. Он поставил фонарь на край вагонетки, подошёл к стене под камерой и провёл рукой по породе, по кронштейну, по тому месту, где из корпуса выходил старый толстый кабель в потрескавшейся оплётке. Кабель шёл по стене вниз, к полу, и там обрывался, перегнивший, лохматый, торчащий из стены, как сухой корень.

Рядом с ним по стене тянулся второй кабель. Он был тонкий, не толще моего пальца, в чёрной гладкой оплётке, совсем новый, без единой пылинки, и он был прибит к породе маленькими блестящими скобами через каждые полметра. Гвоздь взял его в кулак, потянул, и кабель не поддался, только скобы чуть звякнули.

— Это кто-то проложил, — сказал он медленно. — Недавно. Неделю назад, может, две. Свежий.

— Здесь никто не ходит двадцать лет, — сказала Лиза. — Ты сам говорил.

— Говорил. Значит, кто-то ходил. Тихо ходил, пока мы спали. — Гвоздь отпустил кабель и вытер ладонь о штаны, словно тот был грязным. — Или раньше, до нас. Пока станция стояла.

Я посмотрел на тонкий чёрный кабель, на блестящие скобы, на красную точку над вагонеткой. Мне вспомнилась лестница в ночь побега, крутая, металлическая, под домом моего отца, и красная точка камеры, которая повернулась мне вслед, когда никто на неё не смотрел. Тогда я подумал, что запись посмотрят утром, а потом понял, что смотрят сейчас, и с тех пор это чувство не уходило, только иногда становилось тише.

Теперь это чувство стало громким, как гул в пустом зале. Мне казалось, что кто-то идёт по Подземельям впереди нас, на шаг, на два, и включает свет в комнатах, куда мы только собираемся войти. Отец говорил когда-то, что наверху то, что видят, а здесь то, что работает, и я впервые подумал, что здесь, внизу, тоже есть те, кто видит.

— Гончий, — сказал я вслух. — Это его люди. Он знал, что мы пойдём через Слепую. Он проложил это заранее.

— Откуда он мог знать? — спросила Кира.

Я ничего не ответил ей сразу, потому что сам не знал, откуда. Гончий знал «Тень», знал браслет в лифте и чип в водостоке, знал Томаша и брикет, разделённый пополам, знал кольцо на стойке у Веры, и он знал, что я приду в транзитный Узел за Южной насосной открыто, через ворота, за два дня до того, как я сам это придумал. Лев сказал мне об этом в Узле, и сказал с гордостью, как говорят о шефе, который ни разу никого не упустил.

— Он знает меня, — сказал я наконец. — Он всегда знает, куда я пойду. Раньше, чем я.

— Тогда иди туда, куда не пойдёшь, — сказал Гвоздь.

Он сказал это без улыбки, серьёзно, и снова поднял фонарь с края вагонетки. Мы пошли дальше, через выработку, мимо ржавой вагонетки, под красной точкой, которая смотрела нам

в спины. Я чувствовал её затылком всю дорогу, пока выработка не кончилась и мы не вошли в новый ход, узкий, сырой, с водой на полу.

* * *

Камеры загорались перед нами всю ночь. Не все, не в каждой выработке и не в каждом ходе, но часто, слишком часто, чтобы это могло быть случайностью. Мы входили в старый зал с обвалившимся сводом, и под уцелевшей частью потолка медленно наливалась красным маленькая точка, и рядом с ней по стене тянулся тонкий чёрный кабель на блестящих скобах.

Гвоздь перестал их разбивать после третьей. Он сказал, что прикладом все не перебьёшь, а шум разносится по штольням далеко, дальше, чем свет. Кира шла молча, и каждый раз, когда загоралась новая точка, она чуть замедляла шаг, совсем немного, на полшага, и потом снова шла ровно.

Мне вспоминались камеры наверху, на Земле, на каждом столбе, над каждым перекрёстком, и то, как я к ним привык за те дни, как привыкают к шуму дождя. Здесь, в Подземельях, их не было, все были мёртвыми, и первые дни внизу мне не хватало красных точек, как не хватает часов на стене, когда их снимают. Теперь они вернулись, и я понял, что мне их не хватало не потому, что я любил их, а потому, что вырос под ними и не знал, как жить, когда на тебя никто не смотрит.

Один раз, на спуске по старой выработке, Лиза оступилась на камне. Камень покатился из-под её ботинка вниз по склону, и она взмахнула руками, теряя равновесие, и качнулась прямо ко мне, и я увидел, как она падает, и увидел свою правую руку, которая сама потянулась к ней. Рука остановилась в воздухе, в сантиметре от её плеча, и замерла, и я не смог её опустить.

Лизу поймал Гвоздь, а не я. Он обернулся на звук камня, шагнул назад, широко, и подхватил её под локоть свободной рукой, легко, как поднимают с пола уроненный мешок. Лиза выпрямилась, отдёрнула локоть и посмотрела на меня, на мою руку, всё ещё висевшую в воздухе.

— Ты чего? — спросила она.

— Ничего, — сказал я.

Я медленно опустил руку вниз, к груди. Лиза смотрела на меня ещё секунду, и в её серых глазах, глазах Марка, мелькнуло что-то, чего я не понял, может быть, страх, а может быть, понимание. Потом она отвернулась и пошла дальше, вниз по склону, осторожно, глядя под ноги.

С тех пор как я сжал чип Кости, я ни разу никого не коснулся голой рукой. Я не касался Гвоздя, когда он передавал мне каску с водой, не касался Лизы, когда она перевязывала мне ладонь, держал руки подальше от людей, как держат подальше от людей горящую лучину. Под повязкой правая ладонь горела, и я знал, что дело не в волдыре, и знал, что левая рука такая же, как правая, просто ею я ещё никого не убил.

Кира заметила это раньше остальных, ещё в нарядной. Она ничего не говорила, только смотрела, как я беру каску левой рукой, за самый край, и как отодвигаюсь, когда Гвоздь садится рядом. Однажды, на второй день в Слепой, она взяла мою перевязанную ладонь и положила себе на колено, ладонью вверх, как в первую ночь, и держала её, не говоря ни слова, и я не отнял руку, потому что повязка была между нами.

Теперь она шла впереди меня, и я смотрел ей в затылок. Короткие тёмные волосы, остриженные неровно, словно ножом, и под ними, у самого основания черепа, металлический блеск порта, похожий на вделанную в кожу монету. Я смотрел на этот блеск и чувствовал затылком то, что чувствовал теперь всегда, когда был рядом с ней: ровное, непрерывное давление сигнала на её шунт, тихое, упорное, как давит вода на плотину.

Сигнал не уставал ни на секунду. Он давил на её шунт три года, каждую секунду, днём и ночью, во сне и в бою, и шунт держал его, как держит плотина, и я знал теперь, что однажды

плотина не выдержит. Я слушал это давление на ходу, в темноте, как слушают чужое дыхание, и считал свои щелчки, и шёл.

* * *

Под утро мы остановились в старой вентиляционной камере. Это была круглая комната в породе, шагов десять в поперечнике, с высоким потолком, уходящим вверх узкой трубой, и из трубы тянуло холодным сухим воздухом, пахнущим камнем. Гвоздь сказал, что ствол вентиляции ведёт к верхним горизонтам и что дым от огня туда уйдёт, никто внизу его не учует.

Огня он разводить не стал. Мы сели на пол у стены, прямо на камень, и долго молчали, прислушиваясь к штольне за поворотом. Там было тихо, капала где-то вода, мерно, с длинными промежутками, и больше ничего.

Под потолком камеры висела камера. Мы все заметили её сразу, как вошли, и все смотрели на неё, не говоря ни слова, Гвоздь с ружьём на коленях, Лиза с ножом в руке, Кира, обхватив колени. Камера была старая, ржавая, с разбитым стеклом, и под ней не было никакого нового кабеля, только старый, оборванный, свисающий со стены.

Красная точка так и не загорелась. Мы смотрели на неё долго, минут десять, может быть больше, я насчитал два щелчка, и она оставалась тёмной, мёртвой. Гвоздь первым отвёл взгляд, выдохнул шумно, и привалился спиной к стене, и закрыл глаза.

— Хоть здесь не смотрят, — сказал он. — Отдохнём.

Кира достала из сумки шприц и одну ампулу. Она делала это так же, как делала каждую ночь, медленно, аккуратно, сосредоточенно: развернула тряпку, проверила иглу на свет огарка, отломила кончик ампулы о ноготь, набрала бурую густую жидкость. Руки у неё не дрожали, но я видел, как она сжала губы, когда игла вошла в ампулу, и как разжала, когда шприц наполнился.

Потом она протянула шприц Гвоздю. Гвоздь открыл глаза, посмотрел на шприц, на неё, и не взял. Он перевёл взгляд на меня и долго смотрел, так, как смотрел на меня в первую ночь у затопленной шахты, когда я шёл со связанными руками и он решал, стоит ли меня кормить.

— Пусть он, — сказал Гвоздь.

— Чего? — спросила Кира.

— Пусть ракитинский держит. — Гвоздь положил ружьё поперёк колен и погладил приклад, обмотанный изолентой. — Мне руки нужны для этого. Ищейки за нами идут. Если придут, когда я тебе в шею иглу сую, что я делать буду? А он всё равно без дела сидит. Учись, ракитинский. Пригодится.

Кира обернулась и посмотрела на меня. Я сидел у стены и смотрел на шприц в её руке, длинный, тонкий, с бурой жидкостью внутри, и на свою перевязанную правую ладонь, и на левую, на которой не было ни волдыря, ни повязки. Я хотел сказать, что не умею, что у меня дрожат руки, что я боюсь касаться людей, и ничего не сказал, потому что все трое смотрели на меня и ждали.

— Левой, — сказала Кира. — Правой не надо. Иди сюда.

Я поднялся и пересел к ней. Она повернулась ко мне спиной и наклонила голову вперёд, низко, так, что подбородок коснулся груди, и короткие тёмные волосы на затылке разошлись, открывая порт. Я видел его раньше, много раз, издалека, в свете огня, и никогда так близко, на расстоянии ладони, и теперь видел, что это не монета, а круглая металлическая шайба с узким отверстием посередине, вделанная в кожу. Кожа вокруг неё была чуть темнее, чуть грубее, и по краю шайбы шла тонкая белая полоска старого шрама.

— Слушай меня, — сказал Гвоздь сзади. — Иглу ровно держи, не криво. В дырку попадёшь, там резинка, почуешь, как упрётся. Тогда чуть сильнее. Не бойся, ей не больно, это не в шею, это в железку. Потом медленно жми. Медленно, понял? Быстро нельзя, шунт захлебнётся.

— Понял, — сказал я.

Кира протянула шприц через плечо, не оборачиваясь. Я взял его левой рукой, неловко, непривычно, пальцы показались мне чужими, толстыми, деревянными. Шприц был тёплым от её ладони.

— Свободной рукой держи голову, — сказал Гвоздь. — Чтоб не дёрнулась.

Свободной рукой у меня была правая. Я посмотрел на неё, на полосу светлой ткани от рубашки Хромого, туго обмотанную вокруг ладони, на пальцы, торчащие из-под повязки, красные, чуть припухшие. Мне вспомнилось, как эти пальцы лежали на затылке Кости, и как под ними, под кожей, под костью, что-то маленькое, твёрдое, живое гудело, как лампа, и становилось горячим, и замолкало.

— Не могу, — сказал я тихо.

— Можешь, — сказала Кира, не поднимая головы. — Ты меня этой рукой держал. В Узле. Я помню. Не чип держи, а голову. Просто голову. Как держат, когда стригут.

Я положил правую ладонь ей на затылок, повыше порта, туда, где начинались волосы. Повязка была между нами, грубая, плотная, и сквозь неё я почувствовал тепло её кожи и короткие жёсткие волосы, колючие, как стриженая трава. Под ладонью, под кожей, под костью, был её чип, и я почувствовал его так же, как почувствовал тогда, в Узле, маленьким, твёрдым, живым.

Только теперь он совсем не гудел. Он молчал, затаившись, как зверь в норе, и над ним, со всех сторон, давило то, что я узнал бы теперь где угодно: ровное, непрерывное давление сигнала, идущего издалека, сверху, к этому чипу. Между сигналом и чипом стояло что-то третье, холодное, металлическое, чужое, и держало, и не пускало. Это был шунт, и я впервые почувствовал его так ясно, словно сам был им.

— Чувствуешь? — спросила Кира шёпотом.

— Да.

— Что?

— Давит. Сверху. И ты держишь. То есть он держит. Шунт.

Кира ничего мне на это не сказала. Я видел, как дрогнули у неё плечи, совсем чуть-чуть, и снова замерли. Гвоздь сзади молчал, Лиза у стены молчала, и в вентиляционной камере стало так тихо, что я слышал, как где-то в штольне капает вода, и как бьётся сердце у меня в ушах, и как дышит Кира, медленно, ровно, сосредоточенно.

Я поднёс иглу к порту. Рука дрожала, кончик иглы плясал в свете огарка, и я задержал дыхание, как задерживают его, когда целятся, хотя никогда в жизни ни в кого не целился. Игла вошла в отверстие посередине шайбы, мягко, легко, и упёрлась во что-то упругое, как говорил Гвоздь, и я нажал чуть сильнее, и упругое поддалось.

Я начал медленно давить на поршень. Бурая жидкость пошла из шприца в порт, густо, тяжело, и в ту же секунду я почувствовал под правой ладонью, как сигнал, давивший на шунт, вдруг усилился, словно почуяв слабину, словно вода нашла щель в плотине и навалилась на неё всей массой. Шунт дрогнул, всего на мгновение, и ноль над головой Киры мигнул быстро, судорожно, почти погас.

Мне не пришлось ничего решать. Что-то внутри меня, в затылке, в основании собственного черепа, само шевельнулось навстречу этому давлению, как шевелится рука, чтобы поймать падающую чашку. Я не сжал, я помнил, что нельзя сжимать, и только подставил что-то, ладонь, плечо, я не знал, что именно, под эту навалившуюся воду, на секунду, на две, пока шунт не принял изотоп и не закрылся снова, плотно, тяжело, как опускается стальная плита.

Ноль над Кирой выровнялся и снова замерцал ровно, то ярче, то бледнее. Я вынул иглу и убрал правую ладонь с её затылка и только тогда почувствовал, что из носа у меня течёт тёплое. Капля упала мне на рубашку, на светлую праздничную рубашку Хромого, и расплылась тёмным пятном.

— Ты что сделал? — спросил Гвоздь.

Он сидел уже не у стены, а рядом со мной, и ружьё лежало на полу, и я не слышал, когда он двинулся. Кира медленно подняла голову и обернулась ко мне. Лицо у неё было бледным, ещё бледнее, чем обычно, и тёмные глаза, глубоко посаженные, смотрели на меня широко, не мигая.

— Он подержал, — сказала она. — Когда я пустила изотоп, сигнал рванул. Как всегда рвёт. А он подержал. Секунду. Я почувствовала.

— Само, — сказал я, вытирая нос тыльной стороной левой руки. — Я не хотел. Само получилось.

— В первый раз, когда я колола, тоже рвануло? — спросил Гвоздь Киру.

— Всегда рвёт, — сказала Кира. — Каждую ночь. Три года. Только я привыкла. Как будто по голове бьют на секунду. — Она помолчала и потрогала пальцами порт. — Сейчас не било.

Гвоздь долго смотрел на меня, потом на кровь на моей рубашке, потом снова на меня. Потом он хмыкнул, громко, коротко, и пересел обратно к стене, и поднял ружьё с пола, и положил поперёк колен. Лицо у него было непроницаемым, только в маленьких тёмных глазах под тяжёлыми бровями светилось что-то, чего я раньше там не видел.

— Ну вот, — сказал он. — А говоришь, не можешь. Теперь каждую ночь твоя работа.

— Он кровью истечёт каждую ночь, — сказала Лиза от стены.

Она сидела на полу, обхватив колени, и смотрела не на меня, а на Киру. Голос у неё был ровный, злой, и я подумал, что она злится не на меня, а на то, что ей страшно, и что страшно ей не за меня. Над ней висело белое число, тридцать семь лет, ровное, спокойное, и рядом с ним серый ноль Киры казался почти невидимым.

— Не истечёт, — сказала Кира. — Капля.

— Капля сегодня. А завтра?

Кира ничего ей не ответила. Она забрала у меня шприц, завернула его в тряпку и убрала в сумку, медленно, аккуратно, как убирала каждую ночь. Потом она снова взяла мою правую ладонь, перевязанную, и положила себе на колено, ладонью вверх, и накрыла сверху своей рукой, холодной, жёсткой, пахнущей металлом и аптекой.

Мы сидели так очень долго. Гвоздь у стены закрыл глаза и, кажется, задремал, сидя, с ружьём на коленях. Лиза у другой стены смотрела в пустоту перед собой, и губы её беззвучно шевелились, и я знал, что она снова повторяет цифры, тринадцать штук, номер своего брата.

Я тоже думал о Марке. В тишине вентиляционной камеры, под мёртвой камерой, с ладонью на колене у Киры, я считал, как считал теперь каждое утро, сам того не желая. На ритуале у Марка было чуть больше миллиона трёхсот тысяч мест, потом стало меньше восьмидесяти четырёх, потом его увезли с семьюдесятью девятью тысячами, а может быть, меньше, если по дороге его кто-то ещё раз подключил к кому-то.

На Узле 42 Гончий сказал мне, что у Марка триста сорок три дня, и сказал так, словно знал наверняка, словно считал не хуже меня. С тех пор прошло шестнадцать дней. Я сложил, и вычел, и сложил снова, и у меня получилось триста двадцать семь.

Триста двадцать семь дней, если ему ничего не долили и ничего не забрали, если его не подключали больше ни к кому и если в журнале Узла не соврали, когда написали «постоянное размещение». Объект Ф-7, глубже Узла, где никто не знает. Белые капсулы, как яйца, по сто, по двести рядами, кормят через трубки и доят, так говорил Сиплый в котельной, хрипя сквозь шрам на горле.

Моё собственное число висело в верхнем краю зрения, белое, огромное, восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч с чем-то. Почти сто три года, если ничего не случится, если никто снова не посадит меня в кожаное кресло с ремнями и не наденет мне на шею серебристое кольцо. Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять из них я взял у Марка, и потом отдал тридцать тысяч Мышке, и полмиллиона из меня выкачали Сотнику на продажу, и теперь я не знал, где в этом числе Марк, а где я.

Мне вспомнилось, как я сказал у огня в нарядной «я решил». Это было три дня назад, а казалось, что прошёл месяц, и что сказал это кто-то другой, более уверенный, чем я, и более глупый. Я решил найти Марка и сервер, сломать Очередь, вывести мальчика из капсулы Т-40, и вот я сидел в вентиляционной камере глубоко под землёй, с перевязанной ладонью и кровью на чужой рубашке, и не знал даже, в какую сторону идти.

— О чём думаешь? — спросила Кира тихо, не поворачиваясь.

— Считаю, — сказал я.

— Что?

— Дни. У Марка триста двадцать семь.

Кира помолчала, глядя куда-то в темноту перед собой. Ладонь её на моей повязке не шевелилась, только пальцы чуть сжались, совсем немного, и разжались. Я ждал, что она скажет, и боялся того, что она скажет.

— Успеешь, — сказала она.

Она сказала это просто, без нажима, как говорят о погоде. Я не знал, верит ли она в это, или говорит, чтобы я замолчал, или говорит себе, а не мне. Над ней мерцал серый ноль, то ярче, то бледнее, и у неё не было ни трёхсот двадцати семи дней, ни одного дня, а было только то, что лежало у неё в сумке за спиной, двенадцать коробок по тридцать ампул, и то, что держал под этими ампулами старый шунт.

* * *

Мы вышли из вентиляционной камеры, когда наверху, наверное, уже был день. Здесь, внизу, дня не было, но Гвоздь сказал, что знает по воздуху: днём в старых стволах тянет вниз, а ночью вверх, и сейчас тянуло вниз. Я не почувствовал никакой разницы, но поверил ему, как верил теперь во всём, что касалось Подземелий.

Путь до Глухой был длинным. Гвоздь вёл нас кружным путём, через старые выработки, где, по его словам, не бывали даже Пастыри, по узким ходам, где приходилось идти боком, по колено в ледяной воде, по крутым склонам, засыпанным мелким острым щебнем. Дважды мы проходили под камерами, которые загорались при нашем приближении, и дважды Гвоздь сворачивал в сторону, в ход, который вёл совсем не туда, куда нам было нужно, и ждал там, пока не убедится, что под следующей камерой нет нового чёрного кабеля.

Я перестал считать камеры после десятой. Я считал щелчки, как всегда, и дни Марка, и шаги, когда шёл по узким ходам, и всё равно не мог отделаться от чувства, что кто-то считает меня. Мне казалось, что где-то далеко, в комнате с белыми стенами, кто-то сидит перед экраном, на котором светится красная точка, и смотрит, как четыре маленькие фигурки идут по тёмным штольням, одна за другой, с фонарём из консервной банки.

Ближе к вечеру ход пошёл вверх. Воздух стал теплее, суше, и в нём появился запах, который я узнал сразу, хотя прошло всего несколько дней: запах угольного костра, дыма, горячего камня и людей, много людей, живущих в одном месте. Гвоздь остановился, поднял руку, и мы остановились за ним.

— Глухая, — сказал он шёпотом. — За поворотом выступ. Оттуда видно выработку. Дальше тихо. Совсем тихо.

Он наклонился и задул огарок. Темнота навалилась сразу, плотная, полная, и в этой темноте я услышал, как Кира рядом со мной расстегнула кобуру, тихо, почти беззвучно. Гвоздь пошёл вперёд, медленно, на ощупь, и мы пошли за ним, держась руками за стену, и я держался левой, а правую прижимал к груди.

За поворотом впереди был свет. Он падал снизу, из выработки, рыжий, неровный, мигающий, свет костра, и в этом свете я различил край каменного выступа, нависающего над широким тёмным пространством. Гвоздь лёг на выступ животом, осторожно, подполз к самому краю, и поманил нас рукой.

Я лёг рядом с ним. Камень был тёплым, шершавым, пах углём, и подо мной, внизу, метрах в двадцати, лежала выработка над седьмым горизонтом, та самая, где мать Хромого отдала мне ботинки сына. Посреди неё горел костёр из угля, как и тогда, и вокруг костра сидели люди, тесно, плечом к плечу, и я узнал их не по лицам, а по числам.

Белое, лет на двадцать, над широкой спиной Ганны, и маленькое белое рядом с ней, над свёртком у неё на руках. Жёлтое, месяцев на семь, над худым седым стариком у самого огня, и я узнал в нём Ферко по тому, как он сидел, прямо, не горбясь, как сидел Бур. Ещё почти три десятка чисел, белых и жёлтых, тесно, одно к одному, как свечи на праздничном столе, и над каждым из них я знал человека, хотя не знал его имени.

Они сидели неподвижно и молчали. Никто не говорил, никто не ел, никто не подбрасывал в огонь угля, и дети не плакали, а сидели тихо, прижавшись к матерям. Я смотрел на них сверху и не сразу понял, что не так.

Потом я увидел у дальней стены фонари. Они горели в дальнем конце выработки, у входа в главный ход, белые, ровные, яркие, совсем не похожие на консервные банки с огарками, и их было много, десять, двадцать, больше. Свет от них падал на стены выработки, на почерневшую крепь, на лица людей у костра, и в этом свете я увидел чёрную форму с серебряным кантом.

Ищейки стояли кольцом вокруг выработки. Они стояли неподвижно, через каждые несколько шагов, с оружием в руках, и смотрели на людей у костра, и люди у костра смотрели в огонь, и никто не двигался. Над Ищейками висели их числа, белые, долгие, ровные, и мне показалось, что их больше, чем людей у огня.

Гвоздь рядом со мной перестал дышать. Я слышал, как он втянул воздух и замер, и как под его огромной ладонью тихо скрипнул камень. Кира лежала по другую сторону от меня, и я почувствовал, как её плечо прижалось к моему, и как оно дрожит.

Мы всё-таки опоздали сюда, к своим. Ищейки были здесь раньше нас, раньше, чем мы вышли из Слепой, раньше, чем загорелась первая камера, может быть, раньше, чем Гончий поднял голову на экране и посмотрел в объектив. Я лежал на тёплом камне над выработкой, полной людей, которые отдали мне ботинки, еду и рубашку мёртвого сына, и смотрел, как они сидят у огня и не смеют поднять глаз.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло. Ровно через шесть минут, как всегда, тихо и спокойно, и в этот раз мне не почудилось второго щелчка. Внизу, у входа в главный ход, белые фонари разошлись в стороны, и между ними, в серой рабочей куртке, застёгнутой до горла, медленно вышел к огню человек, над которым не было числа.

Глава 2

Кривая штольня оправдывала своё имя. Она петляла в толще породы, как петляет высохшее русло, то уходя вниз крутым склоном, то поднимаясь, то сворачивая так резко, что Гвоздь, шедший впереди, на несколько секунд пропадал из виду, и только свет его огарка дрожал на стене за поворотом. Гвоздь сказал, что её рубили в разные годы разные бригады, и каждая шла за своим пластом, и никто не думал о тех, кто пойдёт следом.

Здесь было суше, чем в Слепой, и теплее. Стены были чёрные, блестящие, с тонкими жилами чего-то белого, похожего на соль, и когда свет огарка скользил по ним, жилы вспыхивали короткими искрами и гасли. Пахло углём, камнем и ещё чем-то горьковатым, древним, как пахнет в погребе, куда много лет никто не спускался.

Камер в Кривой не было. Гвоздь выбрал её именно поэтому, он сказал об этом утром, когда мы вышли из Глухой: бригады, рубившие Кривую, работали ещё при деде Бура, задолго до того, как в шахтах начали вешать камеры. Мы шли по ней весь день, и я весь день ждал, что под низким сводом вот-вот наберёт цвет маленькая красная точка, и она так и не загорелась.

К полудню, по счёту Гвоздя, мы остановились у развилки, где из стены сочилась вода, тонкой струйкой, тёплой, с привкусом железа. Лиза набрала воды во флягу, которую дал Ферко, и долго пила, запрокинув голову, а потом подошла ко мне и протянула руку. Лицо у неё было сосредоточенным и хмурым, как у человека, который делает неприятное, но нужное дело.

— Дай руку, — сказала она.

— Зачем?

— Повязку менять. Третий день не меняли. — Она смотрела не на меня, а на мою правую ладонь, прижатую к груди. — Гнить начнёт, отрежут по локоть. Там внизу резать некому.

Я молча протянул ей правую руку. Лиза размотала полосу от рубашки Хромого, медленно, осторожно, отлепляя присохшую ткань, и я стиснул зубы, потому что ткань присохла к волдырю. Под повязкой ладонь была красная, припухшая, с белым пузырём посередине, который за три дня стал меньше, но не сошёл, и вокруг него кожа лопнула мелкими трещинами.

Лиза посмотрела на ладонь, потом на меня. Она достала из кармана баночку с мазью, белой, без запаха, ту самую, что передала мне мать Хромого через Ферко, и открутила крышку. Я дёрнул рукой, сам не зная почему.

— Не надо, — сказал я. — Не этой.

— Почему?

— Это его. Гончего.

— А мне всё равно, чья, — сказала Лиза. — Мазь от ожогов. Сверху. Хорошая. — Она зачерпнула мазь двумя пальцами. — Он людей кормил, детям лекарства дал. Мне и это противно. Только детям от этого хуже не стало. И тебе не станет.

Мазь легла на ладонь холодом. Холод был не резкий, а глубокий, мягкий, словно кто-то положил мне на руку горсть снега, которого я никогда не видел, и жар под кожей сразу отступил, и пальцы, которые три дня горели и не сгибались, вдруг стали лёгкими. Я выдохнул так громко, что Кира у стены подняла голову.

Лиза намазала ладонь ровным слоем, туго замотала чистой полосой, оторванной от своей нижней рубашки, и завязала узел зубами, как в первый раз. Потом убрала баночку в карман и отошла к развилке, к Гвоздю, не сказав больше ни слова. Я стоял и смотрел на свою перевязанную руку, на которой лежала мазь из мешка человека, который знал моё детское имя.

Пусть ищет своё, сказал он старику у костра. Я шёл дальше по Кривой, вслед за огарком Гвоздя, и думал о том, что Гончий, может быть, знал и это: что мазь передадут мне, что Лиза намажет её, что рука перестанет гореть. Мне было противно от этой мысли, и рука не болела, и от этого было ещё противнее.

* * *

На ночь мы остановились в старой нарядной Кривой, маленькой, тесной, с низким потолком и обвалившимся углом. Здесь когда-то раздавали наряды на смену, так сказал Гвоздь, и на стене ещё висела ржавая доска с крючками, на которых шахтёры вешали жетоны, уходя в забой. Крючков было сорок, и на трёх из них висели жетоны, круглые, медные, позеленевшие, с выбитыми номерами.

— Не вернулись, — сказал Гвоздь, посмотрев на жетоны. — Жетон снимаешь, когда выходишь. Эти не сняли.

Он сказал это просто, без грусти, как говорят о погоде, и пошёл собирать обломки старой крепи для огня. Огонь разгорелся быстро, сухое дерево горело ровно, почти без дыма, и дым уходил в щель в обвалившемся углу, куда-то наверх. Тепло от огня заполнило нарядную, и стены вокруг стали рыжими, живыми, и тени на них зашевелились.

Мы поели брикетов из мешка Гончего, молча, сидя у огня. Брикеты были свежие, мягкие, с привкусом чего-то сладкого, совсем не такие, как те, что продавали в депо за три сотни, и Гвоздь ел их с тяжёлым, мрачным лицом, словно жевал камень. Лиза съела половину своего и отложила остальное, завернув в тряпку, на потом.

Потом Кира достала из сумки шприц и ампулу. Она протянула их мне, не глядя, так же просто, как протягивают кружку с водой, и повернулась ко мне спиной, и наклонила голову вперёд. Гвоздь у огня ничего не сказал, только поднял ружьё с пола и положил поперёк колен.

Во второй раз было легче. Пальцы левой руки слушались лучше, игла почти не дрожала, и я попал в отверстие с первого раза, и почувствовал упругое, и нажал чуть сильнее, и упругое поддалось. Правую ладонь, перевязанную, намазанную холодной мазью, я положил ей на затылок, выше порта, и почувствовал под ней её чип, молчащий, затаившийся, и давление сигнала над ним, и шунт между ними.

Я давил на поршень медленно, как учил Гвоздь, и ждал рывка. Рывок пришёл, как приходил всегда, едва бурая жидкость пошла в порт: давление сигнала вдруг усилилось, навалилось всей массой на ослабевшую плотину. В этот раз я ждал его, и когда он пришёл, я не испугался, а подставил то, что подставил в прошлый раз, не зная, что это, ладонь, плечо, спину, на секунду, на две, пока шунт не принял изотоп и не закрылся.

Ноль над Кирой мигнул, коротко, и выровнялся. Из носа у меня в этот раз не пошло ничего, только в затылке на мгновение кольнуло, тонко, как колет, когда долго смотришь на яркий свет. Я вынул иглу, убрал ладонь, и Кира медленно подняла голову.

— Не било, — сказала она тихо. — Опять не било.

Она так и не обернулась ко мне. Она сидела ко мне спиной, и я видел только её затылок, короткие тёмные волосы, металлический блеск порта, и плечи, которые вдруг опустились, словно с них сняли что-то тяжёлое. Потом она взяла у меня шприц, завернула его в тряпку и убрала в сумку, и пересела ближе к огню, и протянула к огню руки.

* * *

С тех пор прошёл, наверное, целый час. Я не считал минут, считал только щелчки, и их было девять или десять, когда Кира вдруг перестала греть руки и замерла. Она сидела у огня, вытянув руки к углям, и пальцы её вдруг дрогнули, раз, другой, мелко, как дрожат струны, когда по ним проведут ногтем.

Я посмотрел на ноль над её головой. Он мерцал, как мерцал всегда, то ярче, то бледнее, только ритм был не тот. Он сбился, как сбивается дыхание у человека, который бежит в гору: вспышка, пауза, две быстрые вспышки, долгая темнота, почти полная, такая, что я перестал различать серую цифру над её головой, и снова вспышка.

— Кира, — сказал я.

Она ничего мне не ответила. Она медленно опустила руки и поднесла их к ушам, обе сразу, и прижала ладони к ушам так сильно, что побелели костяшки. Лицо у неё стало совсем

белым, и глаза, тёмные, глубоко посаженные, раскрылись широко, и смотрели не на огонь, не на меня, а куда-то сквозь стену нарядной.

— Шумят, — сказала она. — Шумят. Сейчас же кололи. Сейчас же должно быть тихо.

Лиза вскочила со своего места. Гвоздь поднялся медленнее, тяжело, отложив ружьё, и шагнул к Кире, и в эту секунду Кира качнулась вперёд, к огню, и Гвоздь успел подхватить её за плечи, прежде чем она упала лицом в угли. Её тело выгнулось у него в руках, напряглось, как тетива, и задрожало всё, с головы до ног, крупной частой дрожью, и зубы её застучали.

— Держи голову! — крикнул Гвоздь. — Лиза, голову держи, чтоб не билась!

Лиза упала на колени рядом, подхватила голову Киры ладонями, прижала к своим коленям. Кира билась у них в руках, не крича, не говоря ни слова, только стучали зубы, и сквозь стиснутые губы вырывалось короткое, хриплое дыхание. Над ней ноль мигал всё реже, всё слабее, и темнота между вспышками становилась всё длиннее.

— Ещё уколоть? — Лиза подняла на Гвоздя мокрое от слёз лицо. — Гвоздь, ещё дозу?

— Нельзя, — сказал Гвоздь сквозь зубы. — Щуп говорил. Две подряд нельзя. Сердце встанет.

Я сидел на месте и не мог пошевелиться. Я видел ноль над её головой, который гас, вспыхивал и гас снова, и каждый раз темнота длилась дольше, и я считал эти темноты, как считал свои щелчки: раз, два, три, вспышка. Раз, два, три, четыре, вспышка, слабая, серая, едва заметная, как последний уголь в остывшем костре.

Я чувствовал сигнал всем затылком. Я чувствовал его затылком так ясно, как никогда раньше, даже в Узле, когда шунт отказал совсем: он больше не давил на плотину ровно и терпеливо, он бил в неё, раз за разом, и в плотине уже была щель, и в эту щель уже текло. Шунт ещё держал, но держал рывками, захлёбываясь, как держит человек тяжёлую дверь, в которую ломятся с той стороны.

Я перестал думать о чём-либо. Я подполз к ней на коленях, оттолкнул руку Лизы и положил правую ладонь Кире на затылок, на порт, прямо на металлическую шайбу. Повязка мешала, я чувствовал сквозь неё всё смазанным, далёким, как сквозь толстую стену, и я сорвал её зубами, сам не помню как, и положил голую ладонь, в холодной мази, на металл порта, на кожу вокруг.

Всё сразу стало ясным и близким. Под ладонью был её чип, маленький, твёрдый, живой, и он не молчал больше, он метался, как зверь, которого загнали в угол, и над ним бил сигнал, и между ними был шунт, и шунт трещал, как трещит лёд под ногой. Мне было страшно так, как не было страшно ни разу в жизни, даже в Узле, даже в насосной у Сотника, потому что я помнил, что было с Костей, когда я положил ладонь на его затылок.

Я помнил, как чип Кости стал горячим. Я помнил запах горелой изоляции и маленький твёрдый комок под пальцами, который гудел, как лампа, и замолчал, и помнил, как сжал его, и не отпустил. Сейчас под моей ладонью был другой чип, и я не должен был его сжимать, ни за что, ни на долю секунды, и я не знал, как держать сигнал, не сжимая.

В Узле я сжал что-то внутри себя, в затылке, как кулак, и сигнал остановился. В вентиляционной камере я ничего не сжимал, а просто подставил что-то, и сигнал на секунду упёрся в это подставленное, и шунт успел закрыться. Это было разное, совсем разное, я понимал это теперь так ясно, словно мне объяснили на уроке: одно было кулаком, а другое ладонью.

Я не стал ничего сжимать. Я представил себе воду, которая течёт сверху, тонкой холодной струёй, как текла сегодня из стены у развилки, и подставил под неё ладонь, плашмя, раскрытую. Я не трогал камень, из которого течёт вода, и не трогал чашу, в которую она должна упасть, а только встал между ними.

1

Сигнал упёрся в подставленное, как вода упирается в ладонь. Я почувствовал, как он ударил в мою подставленную ладонь, не в настоящую, лежащую на затылке Киры, а в ту, другую,

внутри, в основании моего собственного черепа. Он остановился и надавил, тяжело, ровно, всей массой.

2

3

Под моей настоящей ладонью чип Киры перестал метаться. Он затих, замер, как замирает зверь, когда шум за дверью вдруг стихает, и я почувствовал, что он тёплый, обычный, живой, не горячий. От облегчения я чуть не заплакал.

4

5

В носу стало горячо, и по губе потекло тёплое. Я знал, что это кровь. Я не вытирал, я не мог шевельнуться, я держал, и давление на мою подставленную ладонь не становилось меньше, оно становилось только тяжелее, как становится тяжелее ведро, в которое льётся вода.

6

7

В ушах зазвенело, тонко, на одной высокой ноте, и звон рос, и заполнял всё, и сквозь него я едва слышал голос Гвоздя, который что-то говорил мне. Где-то совсем рядом плакала Лиза. Перед глазами поплыло, огонь в углу нарядной стал размытым рыжим пятном, и я понял, что не продержу долго.

8

Шунт под моей ладонью вздрогнул. Я почувствовал это так же ясно, как чувствовал сигнал, словно что-то тяжёлое, металлическое, холодное встало на место и щёлкнуло, как щёлкает замок. Потом оно опустилось, как опускается стальная плита.

9

Я убрал свою подставленную ладонь. Сигнал навалился снова, всей массой, и упёрся в шунт, и шунт выдержал, ровно, тяжело, как держал три года. Ноль над Кирой вспыхнул и замерцал, то ярче, то бледнее, медленно, ровно, в своём обычном ритме, как будто ничего не случилось.

Я сидел на полу нарядной и не мог поднять руку, чтобы вытереть лицо. Кровь текла из носа, медленно, тёплой струйкой, по губам, по подбородку, капала на рубашку Хромого, и я смотрел, как расплываются на светлой ткани тёмные пятна. В ушах звенело, и звон медленно отступал, как отступает вода после прилива, и сквозь него начали проступать звуки: треск огня, капли где-то в штольне, частое, хриплое дыхание Киры.

Кира лежала на коленях у Лизы. Глаза у неё были открыты, мокрые, огромные, и она смотрела вверх, в низкий потолок нарядной, и губы у неё шевелились, беззвучно, словно она что-то считала. Дрожь прошла, только пальцы ещё подрагивали, мелко, изредка, как подрагивают у спящего.

Гвоздь сидел на корточках рядом со мной. Он протянул мне тряпку, ту самую, в которую Кира заворачивала шприц, и я взял её левой рукой и прижал к лицу. Тряпка пахла металлом и аптекой.

— Сколько держал? — спросил Гвоздь глухо.

— Девять, — сказал я в тряпку. — Девять секунд.

— В Узле дольше держал.

— В Узле я сжимал, — сказал я. — Сейчас не сжимал. Это другое.

Гвоздь долго смотрел на меня, тяжело, исподлобья. Потом он кивнул, медленно, словно понял, хотя я сам не до конца понимал, что сказал. Он поднялся, взял ружьё и отошёл к входу в нарядную, и встал там, спиной к нам, лицом к темноте штольни.

Лиза смотрела прямо на меня. Она сидела на полу, держа голову Киры на коленях, и гладила её по коротким остриженным волосам, медленно, механически, и смотрела на меня

поверх её головы. Лицо у Лизы было мокрым, и в её серых глазах, глазах Марка, было что-то, чего я не видел в них раньше, ни в турбинном зале, ни в Узле, ни в Слепой.

— Ты её держал, — сказала она. — Голой рукой. Той самой.

— Той самой, — сказал я.

— Я думала, ты её убьёшь.

— Я тоже, — сказал я.

Лиза первой из нас отвела глаза. Она продолжала гладить Киру по волосам, медленно, ровно, и губы её дрожали, и она прикусила нижнюю губу, чтобы они перестали дрожать. Над ней висело белое число, тридцать семь лет, ровное, спокойное, и рядом с ним серый ноль Киры мерцал снова ровно, как будто не гас.

Кира заговорила первой из нас. Голос у неё был хриплым, слабым, чужим. Она говорила медленно, с трудом подбирая слова, как говорят люди, которые только что очнулись.

— Шум прорвался, — сказала она. — Сразу после укола. Так никогда не было. После укола всегда тихо, три часа, четыре. А тут… — Она замолчала, сглотнула. — Как будто дверь открыли. Как будто они все стояли под дверью и ждали, а её открыли, и они… Громко. Так громко. Будто все разом вздохнули.

— Кто? — спросила Лиза.

— Не знаю. Толпа. Тысячи. — Кира закрыла глаза. — Как всегда, только ближе. Как будто они стали ближе.

Я сидел на полу и держал у лица тряпку, пахнущую металлом и аптекой, и смотрел на неё. Мне вспомнился приём в Большой галерее, гул сотен голосов под высоким потолком, звон бокалов, смех, и как этот гул становился громче, когда отец поднимал бокал за тех, кто держит небо. Я не знал, почему вспомнил это сейчас, и отогнал воспоминание, как отгоняют муху.

* * *

Ночью Лиза уснула раньше всех. Она уснула прямо у стены, сидя, свесив голову на грудь, и Кира осторожно переложила её на бок и накрыла своей курткой. Гвоздь сидел у входа в нарядную, спиной к нам, с ружьём на коленях, и не спал, и не оборачивался, и я знал, что он слышит каждое наше слово.

Кира села у огня рядом со мной. Она двигалась медленно, осторожно, как двигаются люди, которые боятся, что тело их снова подведёт, и села не близко, но и не далеко, так, что наши плечи почти касались. Кровь у меня из носа больше не шла, только в затылке ещё ныло, тупо, глухо, как ноет после удара.

Мы долго сидели и молчали. Огонь догорал, угли тлели красным, и Кира подбросила в них обломок крепи, и обломок вспыхнул не сразу, а сначала задымился, почернел по краям, и только потом занялся ровным жёлтым пламенем. Свет от него лёг на её лицо, бледное, усталое, со шрамом через левую бровь, рассечённым в турбинном зале и уже начинавшим заживать.

— У меня брат был, — сказала Кира. — Даня. Я тебе говорила.

— Говорила, — сказал я. — Двенадцать лет.

— Двенадцать. — Она смотрела в огонь. — Он всё время спрашивал про небо. С пяти лет. Какое оно, где оно, почему мы его не видим. Отец рассказывал, что наверху, над Шпилями, Купол, и что утром он светлеет, а вечером темнеет. Даня не верил. Говорил, как это потолок светлеет, потолки не светлеют. — Она помолчала. — Отец яблоко ему принёс. Со Склада. То самое, из ящиков. Даня его есть не стал. Положил под подушку. Говорил, оно с неба упало.

Я ничего не сказал ей на это. Мне нечего было ей сказать. Кира смотрела в огонь, и в её тёмных глазах отражалось пламя, два маленьких жёлтых огонька, и губы её чуть кривились, не в усмешке, а словно от боли, которую давно привыкла терпеть.

— Расскажи, — сказала она. — Какое оно. Небо. Как Буру рассказывал.

— Буру я про солнце рассказывал.

— Расскажи про небо.

Я посмотрел на огонь и попытался вспомнить. Утро в моей комнате, окно во всю стену, свет, который приходит не сразу, а медленно, словно кто-то наверху поворачивает ручку. Купол над Шпилями, огромный, прозрачный, чистый, такой чистый, что кажется, будто его нет совсем.

— Утром оно серое, — сказал я. — В шесть. Ровно в шесть, каждый день, я с детства просыпался в шесть и смотрел. Сначала серое, как пепел. Потом розовое, по краю, там, где Купол сходится с землёй, далеко-далеко. Потом золотое. Потом голубое, всё, целиком, от края до края. Как вода в бассейне, только сверху. Смотреть больно. Глазам больно, а отвести нельзя.

— А ночью?

— Ночью тёмное. Купол темнеет с восьми до девяти, медленно, тоже как будто кто-то ручку поворачивает. Сначала синее, потом чёрное. Совсем чёрное. — Я помолчал. — Звёзд нет. Я про звёзды только в учебниках читал. Там написано, что до войны над городами были звёзды, тысячи, и люди находили по ним дорогу. На Куполе их нет. Отец говорил, что так безопаснее.

— Безопаснее, — повторила Кира. — От чего?

— Не знаю. Он не объяснял.

Кира усмехнулась, одним углом рта, коротко. Потом посмотрела на меня, впервые за весь разговор, прямо. Я увидел, что глаза у неё мокрые.

— Даня бы тебя замучил, — сказала она. — Он бы тебя неделю спрашивал. Какое голубое, какое розовое, как пепел, а пепел какой. — Она отвернулась к огню. — Он хотел подняться наверх. Когда вырастет. Посмотреть. Говорил, накоплю сотен, куплю пропуск на Землю, а с Земли на Шпили, а там посмотрю, и вернусь, и всем расскажу.

Я долго молчал, глядя на угли. Мне вспомнилась кухня, о которой она рассказывала мне у горячей трубы на станции, вечером после обвала: пятеро Пастырей, аппарат, стулья, ремни, и мальчик двенадцати лет, привязанный к стулу, которого обнулили последним, после отца и матери, пока сестра смотрела. Над Даней, наверное, висело белое число, лет на пятьдесят, может быть, на шестьдесят, и всё это ушло в аппарат Десятника, а потом в чью-то капсулу, в чьё-то Обновление, в чей-то белый номер наверху.

— Сервер под Главным Шпилем, — сказала Кира. — Я знаю. Все знают. Где ещё ему быть.

Она сказала это тихо, твёрдо, не мне, а огню, как говорят о том, что повторяли себе тысячу раз. Голос у неё стал прежним, жёстким. Над ней мерцал серый ноль, ровно, спокойно, и я слышал, как сигнал давит на её шунт, ровно, непрерывно, словно ничего не случилось час назад.

— Найдём его, — сказала она. — Взорвём. И Очереди не будет. Ни сигнала, ни номеров, ни Шага. Люди будут умирать, когда умрут. Сами. От старости, от болезни. Не по расписанию.

Раньше, в диспетчерской на станции, я сказал ей, что без Очереди начнётся война. Я повторил тогда слова отца, не думая, как повторял их всю жизнь, и она спросила, папа ли мне это сказал, и я впервые подумал, что отец мог ошибаться. Теперь я не стал повторять, потому что видел беженцев Глухой, кольцо Ищеек вокруг их костра и мальчика в капсуле Т-40.

Я смотрел на ноль над её головой. Я думал о том, что он гас сегодня, почти совсем погас, и что я держал его девять секунд, и что в следующий раз, может быть, понадобится десять, двадцать, минута. Я думал о Щупе, который говорил, что частота у её шунта плавает, и о Гвозде, который говорил, что две дозы подряд нельзя, и о том, что шунт держал её три года, и что ни одна плотина не держит вечно.

— Если не будет сервера, — сказал я медленно, — тебе не нужен шунт.

Кира ничего не ответила мне. Она сидела рядом со мной неподвижно, глядя в огонь, и я видел, как перестали шевелиться её пальцы, сцепленные на коленях. Огонь потрескивал, и тени на стенах шевелились, и где-то в штольне капала вода, мерно, с длинными промежутками.

— Не будет сигнала, — продолжал я, — нечего будет глушить. Ноль будет просто цифрой. Ничего не будет давить. Тебе не нужны будут ни изотоп, ни шприц, ни я с моей рукой. Ты будешь жить, сколько проживёшь. Как все.

— Как все, — повторила Кира.

Она сказала это очень тихо, почти шёпотом, и повернулась ко мне. Лицо у неё было странное, растерянное, словно она услышала что-то, о чём никогда не думала, хотя думала об этом каждый день три года. Глаза её были мокрые, и одна слеза скатилась по щеке, медленно, до самого подбородка, и она её не вытерла.

— Я никогда так не думала, — сказала она. — Я думала: взорвать. Отомстить. За Даню, за отца, за мать. Я не думала, что после. — Она помолчала. — Я не думала, что будет после. Для меня.

— Теперь думай, — сказал я.

Она смотрела на меня долго. Потом протянула руку, медленно, и взяла мою правую ладонь, голую, без повязки, в холодной мази, красную, с белым пузырём посередине, и положила её себе на колено, ладонью вверх. Её пальцы были жёсткими, холодными, в бурых пятнах изотопа, и она не держала мою ладонь, а только касалась её, осторожно, кончиками пальцев, словно проверяла, горячая ли.

Я не отнял у неё руки. Повязки между нами не было, и я чувствовал её пальцы на своей коже, на трещинах вокруг волдыря, и чувствовал, что под её кожей, под её пальцами, где-то далеко, у основания черепа, молчит её чип, и что я могу дотянуться до него, если захочу, и что я не хочу. Это было впервые с Узла, впервые с Кости, когда я касался кого-то голой рукой и не боялся, что сожму.

— Саша, — сказала она.

— Что?

— Ничего. — Она смотрела на мою ладонь. — Просто. Проверяю, как звучит.

У входа в нарядную шевельнулся Гвоздь. Он не обернулся, только переложил ружьё с одного колена на другое и кашлянул, громко, нарочно, как кашляют люди, которые хотят, чтобы их заметили. Кира убрала руку с моей ладони, медленно, без спешки, и я убрал свою.

— Слышал я, — сказал Гвоздь, не оборачиваясь. — Про сервер. Под Главным.

— И что? — спросила Кира.

Гвоздь долго молчал, не оборачиваясь. Потом поднялся, тяжело, и подошёл к огню, и сел на корточки напротив нас, и огонь осветил его лицо снизу, бородатое, тёмное, с длинным бугристым шрамом на бритой голове. Он смотрел на огонь, и маленькие глаза его под тяжёлыми бровями были серьёзными, как никогда.

— Шпиль строили сверху, — сказал он. — Все так думают. Стекло, сталь, двести уровней, Купол над ним. Красиво. — Он помолчал. — А корни ему копали мы. Снизу. Шахтёры. Под каждым Шпилем корни, глубоко, в породу, иначе он упадёт. Под Главным самые глубокие. Мой отец копал. Ещё молодой был, до того, как я родился.

— Ферко говорил, — сказал я. — У костра. Про нарядную.

— Говорил. — Гвоздь кивнул. — У отца нарядная была, там, у Корней, в старом стволе. Он бригадиром был. На стене все стволы нацарапал, гвоздём, чтобы ребята не путались. Я там был один раз, мальчишкой. Отец водил. Показывал, где кто копал, где кто остался. — Он помолчал. — Корни закрыли лет тридцать назад. Решётки поставили, замки. Сказали, опасно, порода плывёт. Отец говорил, порода там крепче, чем везде.

Кира смотрела на него не мигая. Огонь потрескивал между ними, и в его свете я видел, как у неё медленно меняется лицо. Из него уходила растерянность, и появлялось то, что я видел в насосной у Сотника и в Узле, когда она набивала сумку ампулами: жёсткое, острое, живое.

— Ты знаешь дорогу? — спросила она.

— Знаю, — сказал Гвоздь. — Помню. Если нарядную найду, если надпись не стёрлась. — Он посмотрел на неё, потом на меня. — Туда идти неделю. Может, больше. Через Сухой колодец, через Чёрный перекрёсток, потом вниз, под Южную насосную. Ищейки на каждом шагу.

— Пойдём, — сказала Кира.

— Пойдём, — сказал я.

Гвоздь посмотрел на нас обоих долго, тяжело, исподлобья. Потом хмыкнул, коротко, и поднялся, и пошёл обратно к входу в нарядную, и сел там, спиной к нам, лицом к темноте, с ружьём на коленях. Через минуту я услышал, как он тихо, себе под нос, говорит что-то, и разобрал только одно слово, «отец», и больше ничего.

Кира легла у огня, на бок, лицом ко мне, подложив под голову сумку с ампулами. Она смотрела на меня какое-то время, молча, и потом закрыла глаза, и я видел, как её дыхание становится медленнее, глубже, ровнее. Над ней мерцал серый ноль, ровно, спокойно, то ярче, то бледнее, как звезда, которую я никогда не видел.

Я долго сидел у огня. Я смотрел на свою правую ладонь, голую, без повязки, в холодной мази из мешка Гончего, и на белый пузырь посередине, и на трещины вокруг него. Этой ладонью я убил Костю, сжав его чип, и этой же ладонью я сегодня держал Киру девять секунд, не сжимая, и между тем и другим было не больше, чем между кулаком и раскрытой рукой.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло. Ровно через шесть минут, тихо и спокойно, и второго щелчка за ним не было, ни настоящего, ни того, что мне чудился. Я сидел и слушал тишину после щелчка, и думал о том, что Кира впервые за три года подумала о том, что будет после, и что теперь, когда она подумала об этом, мне стало страшнее, чем было до.

Глава 3

Лиза заговорила о Сухом колодце утром, когда мы собирались уходить из нарядной Кривой. Она сказала это не Гвоздю и не Кире, а в пустоту, затягивая ремень на куртке, тем ровным голосом, которым говорят о решённом деле. Мы всё равно идём через Сухой колодец, сказала она, значит, зайдём.

— Зачем? — спросил Гвоздь.

— Посмотреть, — сказала Лиза.

— На что там смотреть? Бабку схоронили, Щуп ушёл. Пусто там.

— Вот и посмотрю, как пусто. — Лиза затянула ремень так, что куртка собралась складками на поясе. — Хочу соседям его в глаза посмотреть. Тем, кто его растил. Кто ему хлеб давал, когда он мелким был. Хочу спросить, знали они или нет.

— Не знали они ничего, — сказал Гвоздь глухо.

— А ты откуда знаешь?

Гвоздь ничего ей не ответил. Он поднял с пола ружьё, закинул на плечо и пошёл к выходу из нарядной, мимо доски с крючками, на которых висели три позеленевших жетона. У самого выхода он остановился, не оборачиваясь, и постоял так немного, словно хотел что-то сказать и передумал.

— Зайдём, — сказал он наконец. — Только быстро.

Кира подняла голову и посмотрела на меня. Она сидела у погасшего костра, перебирая коробки с ампулами в сумке, пересчитывая их пальцами, как пересчитывала каждое утро, и лицо у неё после вчерашнего было ещё бледнее, чем обычно. Над ней мерцал серый ноль, ровно, спокойно, и я слушал, как сигнал давит на её шунт, и не слышал в этом давлении ничего нового.

Я пожал плечами, и Кира пожала плечами в ответ. Мы оба понимали, что спорить с Лизой о Щупе бесполезно, как бесполезно спорить с водой, которая нашла себе дорогу. Она застегнула сумку, закинула её на спину, и мы вышли из нарядной вслед за Гвоздём.

* * *

К Сухому колодцу мы вышли к середине дня, по счёту Гвоздя. Дорога шла через старые выработки, сначала по Кривой, потом по узкому ходу, где приходилось идти боком, потом вверх по железной лестнице, ржавой, шатающейся, вбитой прямо в стену колодца. Я поднимался последним, держась левой рукой, а правую, перевязанную, прижимая к груди, и каждый раз, когда ступенька под ногой скрипела, я замирал и ждал, что она обломится.

Наверху лестницы был тоннель, широкий, сухой, с рельсами на полу, и я узнал его. По этому тоннелю мы шли с Щупом, Буром и Кирой к Восточной штольне, когда Щуп нёс на спине батарею для прожектора, и Бур держал меня под руку сухими пальцами. Тогда здесь было тепло, и пахло дымом и варёной крупой, и откуда-то из боковых проходов доносились детские голоса.

Теперь здесь было холодно и тихо. Запах дыма остался, но старый, холодный, въевшийся в стены, как въедается в одежду запах костра, у которого давно никто не сидел. Детских голосов больше не было слышно.

Сухой колодец открылся за поворотом. Маленькая круглая площадка, вырубленная в породе, и посередине неё старая шахта, пересохшая, накрытая ржавой решёткой, и вокруг шахты, по кругу, двери, десяток дверей, низких, деревянных, с щелями, в которые пробивался свет. Только теперь свет пробивался не из всех: половина дверей была закрыта наглухо, и за ними было темно.

Дверь комнаты, где жил Щуп с братом и бабкой, была открыта. Я помнил её, четвёртую слева от лестницы, с медной ручкой, отполированной ладонями до блеска, и с косяком, на

котором кто-то нацарапал гвоздём маленькие зарубки, одну над другой. Лиза подошла к ней первой и остановилась на пороге.

Комната внутри была совершенно пуста. Ни топчанов, ни стола, ни тряпок, ни посуды, только голые стены, вырубленные в породе, и пол, на котором ещё были видны светлые прямоугольники там, где стояла мебель. В углу, у стены, валялась пустая жестяная кружка, смятая, словно на неё наступили.

Лиза первой из нас вошла внутрь. Она прошла до середины комнаты, медленно, и остановилась, и огляделась, и я видел, как напряжена её спина под курткой, как сжаты кулаки, как поднялись плечи. Она стояла так долго, и никто из нас не решался войти за ней.

— Всё забрали, — сказала она наконец, не оборачиваясь. — Всё. Даже топчан.

— Соседи забрали, — сказал Гвоздь из-за двери. — Внизу так. Если человек ушёл и не вернулся, его вещи берут те, кто остался. Топчан хороший был, из досок. Бабка на нём спала.

Лиза медленно обернулась к нам. Лицо у неё было белое, злое, и глаза, серые глаза Марка, сухие и блестящие, как бывает у людей, которые очень хотят заплакать и не дают себе этого сделать. Она прошла мимо меня к двери, задев меня плечом, и вышла на площадку, к решётке над пересохшей шахтой.

— Эй! — крикнула она, и голос её отразился от стен площадки, ударил в закрытые двери. — Эй, кто здесь есть! Выходите!

Из-за дверей никто не вышел. Лиза постояла, тяжело дыша, оглядывая двери, потом подошла к ближайшей, из-под которой пробивался свет, и ударила в неё кулаком, раз, другой, третий. Звук получился глухим, деревянным, и раскатился по площадке.

— Выходите! Я знаю, что вы тут! Я хочу спросить!

Дверь открылась далеко не сразу. Сначала за ней стало тихо, потом что-то зашуршало, потом скрипнул засов, и в щель выглянула женщина, немолодая, худая, в сером платке, повязанном низко на лоб, с лицом, похожим на сухую грушу. Над ней висело белое число, лет на пятнадцать, и она смотрела на Лизу, потом на Гвоздя, потом на меня, и глаза её становились всё шире.

— Гвоздь, — сказала она шёпотом. — Ты, что ли?

— Я, тётка Зина, — сказал Гвоздь.

— Живой? А говорили, всех на станции… — Она замолчала и перевела взгляд на меня, и губы её задрожали. — А это кто с тобой?

— Свой, — сказал Гвоздь. — Не бойся.

Тётка Зина не поверила, это было видно. Она смотрела на меня долго, на моё лицо, на перевязанную руку, на светлую рубашку Хромого, испачканную кровью, и в её глазах было то же, что я видел в глазах людей у костра в Глухой: страх и что-то ещё, чему я не знал названия. Потом она медленно открыла дверь шире и отступила внутрь.

— Заходите, — сказала она. — Только тихо. На площадке не стойте. Там глаз.

Она кивнула куда-то вверх, над решёткой. Я поднял голову и увидел под самым сводом площадки камеру, старую, ржавую, на кривом кронштейне, и на ней горела красная точка. Она смотрела на решётку, на пересохшую шахту, на двери вокруг, и рядом с ней по стене тянулся вниз тонкий чёрный кабель на блестящих скобах.

Комната тётки Зины была маленькой, тесной, заставленной вещами так плотно, что Гвоздю пришлось встать боком у двери. Два топчана, один на другом, стол, табуретки, мешки с чем-то мягким, сундук с отбитым углом, на сундуке жестяные кружки, миски, котелок. Среди кружек на сундуке я заметил одну, точно такую же, как смятая в пустой комнате Щупа, и подумал, что вторая такая же, наверное, стоит теперь здесь, на этом сундуке.

На одном из топчанов сидел старик, седой, сгорбленный, с перевязанной ногой, и смотрел на нас пустыми глазами, не мигая. Над ним висело жёлтое число, месяцев на пять, и он,

кажется, не понимал, кто мы и зачем пришли. Тётка Зина усадила Лизу на табуретку, Киру на мешок, сама села на край сундука, сложив руки на коленях.

— Чего хотела спросить? — сказала она Лизе. — Спрашивай.

Лиза долго молчала, глядя в сторону. Я видел, как она собирается с силами, как вдыхает, как сжимает кулаки на коленях. Она смотрела не на тётку Зину, а куда-то в сторону, на топчан, на котором сидел старик.

— Щуп, — сказала она. — Вы знали?

— Чего знала?

— Что он продаст. Что он нас продаст Ищейкам. Всю станцию. Тихого, Марту, Рябого. Детей. — Голос у Лизы сорвался, и она замолчала, сглотнула и продолжила тише. — Вы знали?

Тётка Зина долго смотрела на неё. Лицо у неё, похожее на сухую грушу, медленно менялось, как меняется лицо человека, который понимает, что ему сейчас придётся сказать то, о чём он всё это время молчал. Потом она опустила глаза на свои руки.

— Не знала, — сказала она. — Никто не знал. Он тихий был, Щуп. Вежливый. Бабке всё носил, брату всё носил. Мелкий у него на руках вырос, он ему и отец, и мать, и бабка, когда бабка слегла. Кто ж знал.

— Где они? — спросил Гвоздь от двери.

Тётка Зина посмотрела на него, потом снова на свои руки. Пальцы у неё были узловатые, тёмные, с распухшими суставами. Она перебирала ими край платка, медленно, механически.

— Бабка ихняя дошла в тот вечер, как станцию… — Она запнулась. — В тот вечер. Чёрное у неё было, я в зеркало видела, она меня просила посмотреть. Щупа не было. Он с утра ушёл и не приходил. Мелкий один с ней сидел. Плакал. Я к ним зашла, а она уже… — Тётка Зина замолчала. — Мы её схоронили. Камнями заложили, в старой выработке, где все наши.

— А Щуп? — спросила Лиза.

— Пришёл. На другой день. С Ищейками пришёл. Я никому не говорила, Ферко спрашивал, а я смолчала, страшно было. — Тётка Зина помолчала. — А до того, в ночь перед станцией, тоже приходил. С двумя чужими, в тёмном. Мелкого увёл на час, сонного. Привёл обратно, тот спал как убитый. А утром встал румяный, есть просил, бегал. Бабка в зеркало глянула через его плечо и заплакала. Белое, говорит, у него. Долгое.

В комнате стало совсем тихо. Старик на топчане шевельнулся, пробормотал что-то невнятное и снова замер. Где-то за стеной капала вода, мерно, с длинными промежутками, и я считал капли, сам не замечая, как считал всегда.

— С Ищейками, — повторила Лиза.

— Двое их было. В чёрном, с серебром. Стояли у решётки, не заходили. А он зашёл. — Тётка Зина говорила медленно, не поднимая глаз. — Он к Мелкому зашёл, взял его на руки, вынес. Мелкий ревел, вырывался, кричал, чтоб к бабке пустили. Щуп его держал. Сам не ревел. Лицо такое было… Как у покойника. Белое. Он мимо меня прошёл, я ему говорю: Щуп, ты куда, а он даже не глянул. Ушли с Ищейками наверх. К Узлу, говорят. На Землю.

— Награду дали? — спросил Гвоздь.

— Говорят, дали. — Тётка Зина пожала плечами. — Ищейки так говорили, когда уходили. Один другому. Мол, мальчишку наверх, к доктору, лечить, а старшему что обещали. Я не поняла, чего обещали.

Ищейки забрали Мелкого с собой наверх. Я вспомнил рыжего мальчишку с веснушками, который держал ружьё Гвоздя и делал губами «пу-пу», целясь в ржавую решётку над пересохшей шахтой. Тогда над ним висело жёлтое, тысяча шестьсот двадцать, шесть дней, и я знал это и молчал, и потом, в турбинном зале, в последний день станции, увидел над Щупом жёлтое, восемь месяцев, вместо прежних сорока лет. Щуп отдал брату всё сразу, не дожидаясь награды, а награду ему, наверное, так и не дали, потому что наследника не взяли.

Только теперь Ищейки сказали, что мальчишку наверх, к доктору, лечить. Я не понимал, зачем лечить мальчика, у которого теперь сорок лет белого числа, и не понимал, что Щупу обещали, если не места. От этого непонимания мне стало холодно, как будто сквозняк потянул по ногам.

Лиза резко поднялась с табуретки. Она стояла посреди тесной комнаты, среди мешков и топчанов, и смотрела на тётку Зину сверху вниз. Губы у неё мелко и часто дрожали.

— Вы его растили, — сказала она. — Вы ему хлеб давали. Вы его знали с рождения. И вы ничего не видели?

— А ты видела? — спросила тётка Зина тихо.

Лиза растерянно замолчала на полуслове. Тётка Зина подняла на неё глаза, впервые за весь разговор, и я увидел, что глаза у неё мокрые. Она не плакала, а просто смотрела, долго, устало, так, как смотрят старые люди на молодых, которые ещё не знают того, что знают они.

— Ты с ним жила, — сказала тётка Зина. — На станции, бок о бок. Ты с ним ела за одним столом. Ты видела? Никто не видел. Он хороший был, Щуп. Он брата любил. Брат на жёлтом был, в зеркале я ему показывала, и бабке показывала. А потом брату полмиллиона мест пообещали, через кабинку, без налога. — Она помолчала. — Ты бы что сделала, девочка? Если бы твой брат на жёлтом был?

Лиза ничего ей не ответила. Она стояла посреди комнаты, и я видел, как медленно опускаются её плечи, как разжимаются кулаки, как лицо её из белого становится серым. Потом она повернулась и вышла из комнаты, быстро, не оглядываясь, и мы услышали, как её шаги стихают на площадке.

Кира поднялась с мешка и пошла за ней. Гвоздь остался у двери, глядя на тётку Зину, и тётка Зина смотрела на него, и они молчали. Над её головой висело белое число, лет на пятнадцать, и я знал, что своё число она видит в зеркале, как видела числа бабки и Мелкого, и что она только что ударила Лизу сильнее, чем могла бы ударить кулаком.

Мы с Гвоздём вышли за Кирой, оставив тётку Зину сидеть на сундуке. Дверь за нами закрылась, и скрипнул засов, и под сводом площадки горела красная точка камеры. Она смотрела на решётку, на пересохшую шахту, на нас.

Лиза сидела на краю решётки, спиной к нам, свесив ноги в темноту пересохшей шахты. Кира стояла рядом с ней, не касаясь её, не говоря ни слова, просто стояла и смотрела в темноту, туда же, куда смотрела Лиза. Над ними обеими горела красная точка, и я подумал, что нужно уходить, что на площадке нельзя стоять, и не решился их торопить.

Гвоздь подошёл к Лизе и сел рядом, тяжело, на корточки. Он не трогал её, просто сидел, глядя в шахту, огромный, бородатый, с ружьём на коленях. Через какое-то время Лиза прислонилась к его плечу, медленно, словно против воли, и Гвоздь не пошевелился.

Я стоял у решётки и смотрел на неё. Решётка была старая, ржавая, из толстых железных прутьев, крест-накрест, и я помнил, как Мелкий целился в неё из ружья Гвоздя и говорил «пу-пу», и как Щуп смеялся, и как бабка стояла в дверях и смотрела на них. Тогда я смотрел на число над Мелким, жёлтое, шесть дней, и думал, что не могу ему ничего сказать.

У самого края решётки, там, где она крепилась к каменному бортику шахты, что-то блеснуло. Я наклонился и присмотрелся получше. Под решёткой, в узкой щели между прутьями и камнем, был просунут тонкий провод, медный, блестящий, совсем новый, и он был обмотан вокруг прута несколько раз, туго, аккуратно, как обматывают провода люди, которые привыкли работать руками.

Я знал, кто так обматывал провода. Я видел это в турбинном зале, на пульте в диспетчерской, на старом экране, который Щуп подключил к кабелю, чтобы мы смотрели Сводки. Я видел это на батарее для прожектора на Восточной штольне, где каждая клемма была обмотана вот так, туго, ровно, виток к витку.

Я присел у решётки на корточки и потянул за провод левой рукой. Провод уходил вниз, в темноту шахты, и на конце его что-то было, лёгкое, плоское, оно стукнулось о камень и закачалось. Я тянул медленно, осторожно, виток за витком, и из темноты поднялся маленький свёрток, обёрнутый в кусок промасленной ткани и перевязанный тем же медным проводом.

— Что там? — спросил Гвоздь.

— Не знаю, — сказал я. — Кто-то оставил.

Я развязал провод одной рукой, неловко, зубами помогая себе. В ткани был сложенный вчетверо лист, жёсткий, плотный, не бумага, а что-то вроде тонкого пластика, сероватого, с одной стороны покрытого мелкими печатными значками. Я развернул его, и увидел, что это кусок старой схемы, выдранный откуда-то, может быть, из пульта в диспетчерской, с линиями, кружками и цифрами, а на обороте, на чистой стороне, мелким, торопливым, неровным почерком было написано несколько строк.

Я узнал этот почерк сразу. Я видел, как Щуп писал на клочках бумаги номера деталей, когда разбирал аппарат Сотника, мелко, торопливо, с наклоном влево, и буквы у него наползали друг на друга. Здесь они наползали так же, а некоторые слова были зачёркнуты и написаны снова.

Я прочитал записку стоя, держа её близко к лицу, в свете красной точки над головой. Я прочитал её один раз, потом второй, потом третий. С каждым разом слова становились тяжелее.

«Кто найдёт, отдай Гвоздю, только Гвоздю, не Ноль, Гвоздь, прости, я не мог по-другому. Мелкий живой, белый теперь, я сам видел. Про Ноль: у неё шунт сдыхает, частота уходит, я подстраивал, больше не могу, нечем. Порт окисляется изнутри, контакты зелёные, я видел, когда чистил, месяц, может два, потом не удержит никакой изотоп. Я ей не говорил, хотел сказать и не успел, скажи ей ты, как сможешь. Простите меня все, ваш Щуп».

Я стоял над решёткой и смотрел на записку. Красная точка камеры горела у меня над головой, и я чувствовал её затылком. Я чувствовал рядом, в двух шагах, Киру, её ноль, сигнал, давящий на её шунт ровно и непрерывно, и я впервые услышал в этом давлении то, что, наверное, было там всегда, только я не умел различить: тонкую, едва заметную дрожь, как дрожит туго натянутая струна, которая вот-вот лопнет.

Он написал: месяц, может два. Щуп писал это, наверное, в тот день, когда пришёл сюда с Ищейками за братом, торопясь, на колене, пока Ищейки ждали у решётки. С тех пор прошло пять дней, и месяц, может два, стал теперь меньше.

— Что там? — снова спросил Гвоздь, громче.

Я медленно поднял от записки голову. Гвоздь смотрел на меня, сидя на корточках у решётки, и Лиза рядом с ним подняла голову с его плеча, и Кира обернулась. Все трое смотрели на меня, на лист в моей руке, и я видел, как Кира чуть прищурилась, как прищуривалась в насосной, когда смотрела на меня через прицел.

— Щуп, — сказал я. — Записка от Щупа. Для Гвоздя.

— Дай, — сказал Гвоздь.

Я молча протянул ему лист. Гвоздь взял его, развернул, поднёс к глазам, и я видел, как медленно, с трудом, шевелятся его губы, складывая буквы в слова, потому что читал он плохо, как читают люди, которые учились этому поздно и мало. Он читал долго, и лицо его не менялось, только в какой-то момент дрогнула бровь, и потом он сложил лист вчетверо, аккуратно, по старым сгибам, и сунул за пазуху.

— Что он пишет? — спросила Лиза.

— Прощенья просит, — сказал Гвоздь. — Пишет, Мелкий живой. Белый теперь.

— И всё?

— Всё, — сказал Гвоздь.

Он сказал это просто, ровно, и посмотрел на меня, коротко, тяжело, исподлобья. Я хорошо понял этот взгляд. Он ничего не скажет, и я ничего не скажу, и Кира не узнает про месяц, может два, пока мы сами не решим, как ей сказать, и не скажем.

Кира смотрела на Гвоздя, потом на меня. Она ничего не спросила, но я видел, как сжались у неё губы, и как она отвернулась, и пошла к лестнице, к выходу из Сухого колодца, не дожидаясь нас. Над ней мерцал серый ноль, то ярче, то бледнее, и я слушал, как сигнал давит на её шунт, и в этом давлении, ровном и непрерывном, теперь всё время дрожала тонкая натянутая струна.

* * *

Ночью, когда Кира спала у огня в маленькой выработке за Сухим колодцем, Гвоздь подсел ко мне. Он сел рядом, тяжело, привалившись спиной к стене, и долго молчал, глядя на огонь. Потом достал из-за пазухи сложенный лист и протянул мне, не глядя.

— Прочитай ещё раз, — сказал он тихо. — Я плохо читаю. Может, не так понял.

Я развернул лист и прочитал вслух, шёпотом, медленно, каждое слово. Гвоздь слушал, глядя на огонь, и на словах «месяц, может два» закрыл глаза. Я дочитал, а он долго ещё сидел, не открывая их.

— Правильно понял, — сказал он наконец. — Значит, правильно.

— Он мог ошибиться, — сказал я. — Он не доктор. Он мальчишка.

— Щуп в железе не ошибался. — Гвоздь открыл глаза. — Он людей не понимал, а железо понимал. Если сказал, контакты зелёные, значит, зелёные. — Он помолчал. — Шунт этот ей старый человек ставил. Тот, что помер через полгода. У него одно устройство и было. Больше таких нет. Нигде.

Я посмотрел на спящую Киру. Она спала у огня, на боку, лицом к нам, подложив под голову сумку с ампулами, и дышала медленно, глубоко, спокойно. Над ней мерцал серый ноль, ровно, то ярче, то бледнее, и мне хотелось верить, что он будет мерцать так всегда.

— Ей надо сказать, — сказал я.

— Надо, — согласился Гвоздь. — Скажи.

— Почему я?

— Потому что ты её держишь. — Гвоздь посмотрел на меня. — Каждую ночь держишь, когда колешь. Вчера девять секунд держал, кровью умылся. Ей от тебя легче будет услышать, чем от меня. — Он помолчал. — Только не сейчас. Не сегодня. Пусть поспит.

— Когда?

— Когда сам решишь, ракитинский. Ты у нас теперь решаешь.

Он сказал это без насмешки, глухо, серьёзно, и снова закрыл глаза. Я сидел рядом с ним и держал в руке записку Щупа, кусок старой схемы с линиями, кружками и цифрами на одной стороне и торопливыми, наползающими друг на друга буквами на другой. Потом сложил её вчетверо, по старым сгибам, и протянул Гвоздю, но он покачал головой.

— Оставь себе, — сказал он. — У меня за пазухой всё мокнет. Потеряю.

Я положил записку Щупа в нагрудный карман рубашки Хромого, рядом с запиской Марка. Две записки, два мальчика, которые просили прощения и не успели сказать главного, лежали теперь у меня на груди, под клапаном на пуговице. Я чувствовал их сквозь ткань, когда дышал.

* * *

Утром Кира молчала больше обычного. Я колол ей изотоп ночью, как колол теперь каждую ночь, и рывок был, как всегда, и я подставил ладонь, и шунт закрылся, и Кира сказала «не било», тихо, не оборачиваясь. Только утром она не смотрела на меня, а когда я подходил к ней, отходила на шаг, словно случайно.

Мы шли к Чёрному перекрёстку весь день. Дорога шла сначала вниз, под Сухой колодец, по старым выработкам, потом по длинному прямому тоннелю, где когда-то ходили вагонетки,

и рельсы под ногами были гладкими, отполированными колёсами. Камеры здесь горели через каждые сто шагов, все с красными точками, все с тонким чёрным кабелем, и Гвоздь перестал сворачивать, потому что сворачивать было некуда.

Чёрный перекрёсток был местом, где сходились четыре тоннеля. Когда-то здесь перегружали уголь с одних вагонеток на другие, и угольная пыль за годы въелась в стены, в пол, в потолок так глубоко, что всё вокруг было чёрным, матовым, бархатистым, и свет огарка тонул в этой черноте, не отражаясь. Посреди перекрёстка стоял старый погрузочный бункер, ржавый, огромный, на четырёх железных ногах, и из-под него уходила в стену толстая труба, когда-то, наверное, для воды.

Кира подошла к трубе первой. Она присела перед ней на корточки, сунула руку в отверстие трубы почти по плечо и долго шарила там, медленно, сосредоточенно, наклонив голову набок. Потом вынула руку, пустую, чёрную от угольной пыли, и долго смотрела на неё.

— Пусто, — сказала она.

— Сегодня? — спросил Гвоздь.

— Сегодня. Срок сегодня. Должна быть коробка. — Кира поднялась, вытирая руку о штаны. — Дымок ходил. Раз в месяц. Приходил сюда, забирал, нёс на станцию. Тот, сверху, оставлял ночью, Дымок забирал утром. Они друг друга ни разу не видели.

— Дымок на станции остался, — сказал Гвоздь тихо.

— Знаю, — сказала Кира. — Тот, сверху, тоже, наверное, знает. Станции нет. Значит, и носить некому. — Она помолчала. — Цепочка порвалась.

Она сказала это ровно, без жалобы, как говорят о погоде. Над ней мерцал серый ноль, и я слушал сигнал, и тонкая натянутая струна в нём дрожала, и мне казалось, что Кира тоже её слышит, хотя она не могла её слышать. В сумке у неё за спиной лежали двенадцать коробок по тридцать ампул, почти год, и ей не нужна была эта коробка из трубы, ей хватало на год вперёд.

Только ей не нужен был год. Ей нужен был новый шунт, и записка Щупа лежала у меня в нагрудном кармане, рядом с запиской Марка, и говорила, что новых шунтов нет, нигде. Я смотрел на Киру, на её бледное лицо, на руку, чёрную от угольной пыли, и не мог сказать ей ни слова.

Кира достала из кармана куртки кусок мела, белого, крошащегося, завёрнутого в тряпку. Она подошла к ржавой ноге бункера, над самой трубой, и нарисовала на чёрном железе круг, ровный, аккуратный, размером с ладонь. Потом провела через него черту, наискосок, от верхнего края к нижнему, жирно, нажимая на мел так, что он крошился.

— Что это? — спросил я.

— Ноль, — сказала Кира. — Перечёркнутый. Значит, жива. Мы так всегда делали, когда поставка задерживалась. Чтобы тот, сверху, знал, что ещё есть кому носить. — Она отступила на шаг, посмотрела на знак. — Может, увидит. Может, кто-нибудь ему скажет.

Белый перечёркнутый круг светился на чёрном железе, как светится луна на картинке в учебнике. Над бункером, под сводом перекрёстка, горела красная точка камеры, и смотрела вниз, на бункер, на трубу, на белый знак, на нас четверых. Я посмотрел на неё и подумал, что знак увидит не только тот, сверху, но и тот, кто смотрит через эту камеру, и промолчал.

Кира стояла перед своим знаком долго. Потом она повернулась ко мне и впервые за весь день посмотрела на меня, прямо, в глаза. Я увидел в её глазах то, что видел в насосной у Сотника, когда она смотрела на меня через прицел: холодное, внимательное, без улыбки.

— Что в записке было? — спросила она тихо.

Я не ответил ей сразу. Записка Щупа лежала у меня в нагрудном кармане, под клапаном на пуговице, и я чувствовал её сквозь ткань, когда дышал. Гвоздь стоял у бункера, спиной к нам, и не оборачивался, и Лиза стояла рядом с ним, и смотрела на меня, и ждала.

— Он просит прощения, — сказал я. — У Гвоздя. У всех.

— Ещё что?

— Мелкий живой. Белый теперь.

Кира смотрела на меня долго. Я выдержал её взгляд, не отвёл глаз, и чувствовал, как горит под повязкой правая ладонь, и как стучит в висках, и как тонко дрожит струна в сигнале над её головой. Мне было стыдно так, как не было стыдно никогда, даже когда отец поймал меня у двери крыла, где жил Марк.

— Ладно, — сказала Кира наконец. — Не говори. Потом скажешь.

Она отвернулась и пошла к тоннелю, который уходил вниз, на юг, к Южной насосной, к Корням, о которых говорил Гвоздь. Она шла ровно, экономно, не тратя лишнего движения, как ходят люди, привыкшие беречь силы, и сумка с ампулами покачивалась у неё на спине. Над ней мерцал серый ноль, то ярче, то бледнее, и в сигнале, давящем на её шунт, тонко дрожала струна.

Я молча пошёл следом за ней. За спиной, на ржавой ноге бункера, светился белый перечёркнутый круг, и над ним горела красная точка камеры. Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло, ровно через шесть минут, и я сосчитал, сам того не желая: месяц, может два, минус почти неделя.

Глава 4

Последний пакет мы разделили вечером двадцать четвёртого дня, в сухом тупике за Чёрным перекрёстком, на четыре равные части. Кира резала его ножом на плоском камне, долго, аккуратно, примеряя лезвие к каждой доле, и Гвоздь смотрел на её руки и молчал, и Лиза смотрела, и я смотрел тоже. Брикет был последним из тех, что принёс нам Ферко от Гончего, сладковатым, мягким, и каждому досталось столько, сколько помещалось на двух пальцах.

Утром есть было уже нечего. Я проснулся от голода, от тупой, ноющей пустоты под рёбрами, и долго лежал, глядя в темноту, и считал щелчки, как считал всегда. У Марка утром двадцать пятого дня оставалось триста двадцать три дня, и я посчитал это ещё до того, как открыл глаза, а потом посчитал, сколько дней мы сможем идти без еды, и бросил считать.

Гвоздь сидел у входа в тупик, привалившись спиной к стене, и чистил ружьё куском ветоши. Он не спал, кажется, всю ночь, и под глазами у него лежали тени, тёмные, как угольная пыль на стенах перекрёстка. Увидев, что я проснулся, он кивнул мне и отложил ружьё.

— До Корней неделя, — сказал он. — Без жратвы не дойдём. Воду найдём, а жратву не найдём, там пусто, там даже крысы не живут.

— Где можно взять? — спросила Кира. Она уже сидела, натягивая ботинки, и голос у неё был хриплый со сна.

— В депо, — сказал Гвоздь. — Ближе ничего нет. Полдня на запад, потом обратно. День потеряем.

— В депо Пастыри, — сказала Лиза.

— В депо всегда Пастыри. — Гвоздь пожал плечами. — Я схожу. Меня там знают, при мне не лезут. Возьму на неделю, на четверых, и обратно.

Я слушал их и думал о депо. Я помнил его так ясно, как помнил дом: полукруглую крышу из ржавых ферм, рельсы в грязи, прилавки из дверей и ящиков, свет кварцевых ламп, жёлтый, синий, красноватый. Ещё я помнил девочку на перевёрнутом ящике у выхода с рынка, и тряпичную куклу без одной руки, и жёлтое число над светлыми спутанными волосами, двадцать тысяч двести девяносто, которое я сам туда положил.

С тех пор прошло девятнадцать дней. Я посчитал это сразу, не думая, как считал всё, и посчитал, сколько осталось у неё сейчас, и получилось около пятнадцати тысяч, чуть больше двух месяцев. Мне вдруг стало так нужно увидеть это число своими глазами, что я поднялся раньше, чем решил, что скажу.

— Я пойду с тобой, — сказал я Гвоздю.

— Нет, — сказала Кира, не поднимая головы от ботинок.

— Я пойду, — повторил я. — Ты один на неделю на четверых не унесёшь. И тебя там знают, ты сам сказал. На тебя будут смотреть, а на меня никто не посмотрит, если я буду рядом с тобой.

— На тебя весь сектор смотрит, — сказала Лиза. — Твоё лицо на экране у входа каждый час. Ты хочешь, чтобы тебя продали второй раз? Тебя уже продали в этом депо, Александр. Ты забыл?

Я не забыл и не мог забыть. Я помнил Шприца с его жёлтым лицом и сальным хвостом, и пакет, который он принёс мне даром, и его хорошую, дружелюбную улыбку, и тупик, где трое Пастырей взяли меня за локти. Лиза смотрела на меня, и в её взгляде не было злости, а было что-то другое, усталое, и я понял, что она говорит не про меня, а про себя, про то, сколько ещё она может потерять.

— Там девочка, — сказал я наконец. — Мышка. Я ей отдал тогда. Я хочу посмотреть, сколько у неё осталось.

Кира подняла голову и посмотрела на меня. Она помнила, я рассказывал ей про Мышку в первый день, со связанными руками, и она спросила тогда «зачем?», и я ответил «потому что мог». Теперь она ничего не спросила, только смотрела, долго, и над ней мерцал серый ноль, и в сигнале, давящем на её шунт, тонко дрожала струна.

— Посмотреть, — повторила она. — И что ты сделаешь, когда посмотришь?

— Не знаю, — сказал я честно.

Гвоздь долго молчал, переводя взгляд с меня на Киру и обратно. Потом он вздохнул, тяжело, как вздыхают большие люди, и полез в карман куртки, и достал оттуда нож, короткий, широкий, с деревянной рукоятью, обмотанной изолентой. Он попробовал лезвие ногтем, потом протянул мне флягу.

— Голову намочи, — сказал он. — Брить буду.

— Ты с ума сошёл, — сказала Лиза.

— Наверху он лохматый, — сказал Гвоздь. — На экране лохматый, в белом костюме, с бокалом. Внизу таких нет. Внизу все бритые, кто работает, от вшей и от пыли. Обреем, вымажем, и никто не посмотрит. Сядь сюда, ракитинский, к свету.

Я сел на камень у лампы, которую Кира собрала из консервной банки, и наклонил голову, и вылил себе на волосы немного воды из фляги. Вода была холодная, пахла железом, и стекала мне за воротник рубашки Хромого, по спине, и я вздрогнул. Гвоздь положил мне на макушку тяжёлую ладонь, повернул голову, как поворачивают на станке деталь, и приложил к виску лезвие.

Он брил долго, медленно, осторожно, и я слышал, как скребёт нож, и чувствовал, как падают на плечи мокрые пряди. Волосы у меня всегда стригла Тоня, раз в месяц, в ванной комнате на втором этаже, маленькими блестящими ножницами, и всегда говорила, что волосы у меня как у матери, мягкие, послушные, и жалко резать. Теперь они падали на чёрный камень Подземелий, тёмные, мокрые, и я смотрел на них и не чувствовал ничего, кроме холода на затылке.

Лиза сначала отвернулась, потом всё-таки посмотрела. Она смотрела на меня, пока Гвоздь брил, и лицо у неё менялось, медленно, так, как меняется лицо человека, который узнаёт кого-то в толпе и ещё не верит, что узнал. Потом Гвоздь отнял нож, провёл ладонью по моей голове, проверяя, и отступил, и Лиза тихо выдохнула.

— Что? — спросил я.

— Ничего, — сказала она. Голос у неё стал чужой, глухой. — Ты на него похож. Сейчас. Очень.

Я понял, о ком она говорит, раньше, чем спросил. На ритуале, в капсуле с крышкой из толстого стекла, лежал Марк, обритый наголо, серый, постаревший на тридцать лет. Я видел его там, а Лиза не видела его шесть лет, и всё-таки смотрела сейчас на меня так, как смотрела в транзитном Узле на пустую капсулу Т-14. Я потрогал рукой свою голову, голую, шершавую, холодную, и почувствовал, как у меня сжимается горло.

— Это от бритья, — сказал Гвоздь, не глядя на Лизу. — Бритые все друг на друга похожи. Я на своего отца бритый похож, как две капли. Кира, мажь его.

Кира подошла ко мне с горстью угольной пыли, которую набрала со стены у входа. Она присела передо мной на корточки, близко, так близко, что я чувствовал её дыхание, и стала втирать пыль мне в лицо, в лоб, в щёки, в шею, медленно, кончиками пальцев. Пальцы у неё были прохладные, жёсткие, и пахли металлом и аптекой, как пахла её куртка в ту ночь, когда она укрыла меня в турбинном зале.

— Глаза закрой, — сказала она.

Я закрыл глаза и почувствовал, как её пальцы проходят по векам, по переносице, по губам. Она не торопилась и не говорила ничего, и я слышал только её дыхание и тихое потрес-

кивание фитиля в лампе. Потом пальцы остановились у меня на затылке, там, где под кожей сидел чип, и задержались там на секунду дольше, чем было нужно.

— Всё, — сказала Кира и встала. — Теперь ты шахтёр. Только рот не открывай. Как откроешь, сразу слышно, что сверху.

— Ты с нами? — спросил я.

— Нет. Меня там тоже знают. Ноль из ячейки, у Сотника на меня свой счёт. — Кира подняла сумку с ампулами и закинула её за спину. — Мы с Лизой будем у ямы. Гвоздь знает где.

— Под депо смотровые ямы, — объяснил Гвоздь, убирая нож. — Старые, ещё когда вагоны чинили. Из крайней ямы ход в водосток, а водосток выходит в тоннель за депо. Если что, бежишь к вагонам в дальний конец, прыгаешь в яму и ползёшь, пока не упрёшься в решётку. Решётка открыта, я её ещё мальчишкой открыл. Понял?

— Понял, — сказал я.

* * *

К депо мы вышли к полудню. Я узнал его ещё издали, по запаху, тёплому, жирному, пряному, который тянулся по коридору навстречу, и по шуму, который сначала был похож на шум воды за стеной, а потом распался на голоса. У меня свело желудок так, что я согнулся, и Гвоздь положил мне руку на плечо и подождал, пока я выпрямлюсь.

Экран висел над входом, там, где коридор расширялся и переходил в огромное помещение с полукруглой крышей. Он был большой, прямоугольный, в железной раме, и от него в темноту под фермами уходил тонкий чёрный кабель на блестящих скобах, такой же, какой мы видели у камер в старых выработках. Под экраном стояли люди, человек сорок, может быть больше, и смотрели вверх, и молчали.

Экран светился густым красным светом. На красном фоне белыми буквами светилось «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ СОВЕТА», и голос, ровный, бесполый, без дыхания, голос Системы, который я слышал всю жизнь в лифтах, в галереях и на вокзале Шпилей, говорил над головами людей. Я остановился у стены, в тени, и Гвоздь остановился рядом со мной.

— Совет Протокола сообщает, — говорил голос. — В связи с тем, что наследник дома Ракитиных до сих пор находится в руках террористической группы Подземелий, вознаграждение за сведения, которые помогут вернуть его семье, увеличено. Вознаграждение составляет один миллион мест. Один миллион мест. Вознаграждение зачисляется через пункт Синхронизации без налога Протокола. Совет держит слово.

Над буквами появилась большая фотография. Это был я на приёме, в белом костюме, с бокалом в руке, с волосами, которые Тоня называла мягкими и послушными, и я улыбался кому-то за кадром вежливой, пустой улыбкой, какой улыбаются наследники на приёмах. Я смотрел на себя, на этого мальчика в белом, и не мог поверить, что прошло всего двадцать пять дней.

Люди под экраном не шевелились. Над ними висели числа, жёлтые и белые, жёлтых больше, гораздо больше, и я видел, как они смотрят вверх, на цифры под моим лицом, и считают. Женщина в платке, с жёлтым числом месяцев на пять, шевелила губами, и я понял, что она переводит миллион мест в годы, как перевёл бы любой здесь, и что у неё не получается, потому что цифра слишком большая.

— Одиннадцать лет, — сказал кто-то рядом с ней, хрипло. — Если одному. Одиннадцать с лишним.

— Детям хватит, — сказал другой голос. — И внукам.

— Внукам твоим, — сказал третий, и кто-то засмеялся, коротко, нехорошо.

Красный экран погас и снова засветился, уже голубым, спокойным. На нём появилась Маргарита Штайн, в светлом костюме, с гладко зачёсанными волосами, на фоне Купола, за

которым вставала серая стена пыли. Она улыбалась так же, как улыбалась на приёме, когда стояла у окна галереи и говорила со мной о Сводках, мягко, уверенно, немного насмешливо.

— Сводка с Периметра, — сказала Маргарита. — Буря на третьем секторе продолжается вторые сутки. Уровень радиации за Куполом превышает норму в сорок раз. Защитные системы работают штатно. Жителям Земли рекомендовано не подходить к смотровым галереям восточной стороны. Мы под защитой.

За её спиной стена пыли шла на Купол медленно, тяжело, и разбивалась о него беззвучно, и по стеклу ползли рыжие полосы. Я смотрел на эту стену и вспомнил, как Маргарита сказала мне на приёме, что Сводки монтируют из записей внешних камер, что всегда видно, где склейка, на третьей минуте, и что пора мне знать, как делается погода. Тогда я решил, что она говорит про пропаганду, про то, что Совет показывает людям только нужное, и сейчас подумал о том же, и почему-то задержался на этой мысли: третий сектор, третья минута.

Додумать эту мысль я не успел. Экран снова стал красным, и снова появилось моё лицо, и голос Системы снова начал говорить про миллион. Гвоздь сжал мне плечо и потянул за собой, внутрь, в депо, и мысль ушла, как уходит из рук мокрая верёвка.

В депо было теплее, чем в коридоре, и шумнее, чем я помнил. Рельсы всё так же тянулись по полу между рядами прилавков, утонувшие в грязи, и над прилавками так же висели самодельные фонари, лампочки на проводах и кварцевые трубки в решётчатых колпаках. Только людей стало больше, а разговоров меньше, и почти все разговоры, которые я слышал, проходя мимо, были об одном.

— Шприц его здесь видел, — говорил старик у прилавка с тряпьём. — Своими глазами видел. Лохматый, говорит, в рубашке. Сидел вон у той фермы.

— Шприц наверху теперь, — отвечал ему кто-то. — Говорят, на Земле живёт, в доме с окнами. За полмиллиона-то.

— За полмиллиона, — сказал старик. — А теперь миллион.

Я шёл за Гвоздём, глядя под ноги, как он велел, и чувствовал, как горит под угольной пылью лицо. Гвоздь шёл впереди, большой, бородатый, с ружьём за спиной, и люди перед ним расступались на полшага, отворачивались, замолкали, как расступались здесь когда-то перед Пастырями. Меня они не замечали вовсе: я был просто тощим бритым парнем за его спиной, одним из многих, и над моей головой висело белое число, которое никто, кроме меня, не мог видеть, восемь миллионов шестьсот тринадцать тысяч.

Женщина за прилавком с мешками была та же самая, с красными потрескавшимися руками. Только кричала она теперь «четыре сотни пакет», а не три, и когда Гвоздь остановился перед ней, она посмотрела на него, потом на меня, и снова на него. Взгляд у неё был быстрый, цепкий, и скользнул по мне, не задержавшись, и я перевёл дыхание.

— На неделю, на четверых, — сказал Гвоздь. — Пакеты и воду. Сколько?

— Двадцать восемь пакетов, — сказала женщина, загибая пальцы. — Четыре сотни. Одиннадцать тысяч двести. И вода. Двенадцать ровно, тебе по старой памяти. Плати у Бабы, она теперь вместо Шприца.

Баба оказалась толстой женщиной с тяжёлыми веками и золотыми серьгами в ушах, которая сидела на табурете Шприца под той же самой кварцевой лампой. Перед ней на прилавке стояла серая коробка с экраном, такая же, как у Шприца, или та же самая, и от неё тянулся моток провода с насадкой на конце. Гвоздь наклонил голову и подставил ей шею, и Баба приложила насадку, и Гвоздь даже не поморщился.

Я смотрел на его число. Оно было белое, ровное, и я никогда не говорил ему, сколько в нём лет, и он никогда не спрашивал. Число дрогнуло и побежало вниз, разрядом, и остановилось на двенадцать тысяч меньше, и ещё на шесть тысяч меньше, на треть, которую Баба взяла себе, и я почувствовал, как у меня горит лицо от стыда, потому что эти восемнадцать тысяч

были почти на два с половиной месяца жизни Гвоздя, и он отдал их за меня, за мою еду, и даже не посмотрел на экран коробки.

Пакеты женщина сложила в два мешка, Гвоздь взял один, я взял второй. Мешок был тяжёлый, тёплый, и пах так, что у меня снова свело живот, и Гвоздь заметил это и вынул из своего мешка один пакет, разорвал зубами и сунул мне в руку. Я ел на ходу, отвернувшись к стене, торопливо, не чувствуя вкуса, и думал, что съел сейчас шестьсот с лишним мест из Гвоздя.

Мышку я увидел у выхода с рынка, там же, где видел её в первый раз. Она сидела на том же перевёрнутом ящике, поджав ноги, маленькая, худая, в той же кофте, только кофта теперь была ей ещё больше, или она сама стала меньше. На коленях у неё лежала тряпичная кукла, и я узнал её сразу, по вышитым чёрными нитками глазам и по грязному обрывку ткани на месте второй руки.

Над её светлыми спутанными волосами висело жёлтое число. Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят, и я смотрел на него, и считал, и получалось шестьдесят пять дней, если Шаг не прыгнет снова, чуть больше двух месяцев. Число было ровное, спокойное, не пульсировало, как пульсировало тогда чёрное, и я подумал, что девочка живёт сейчас на мои места и не знает, сколько ей осталось, и что её мать знает.

Мать стояла рядом с ней, у последнего прилавка, и торговала. Перед ней на ящике лежало несколько штопаных носков, пара рукавиц и что-то, похожее на шапку, связанное из распущенной верёвки. Она была такая же молодая и такая же измученная, только руку больше не протягивала, а стояла прямо, и над ней висело жёлтое число месяцев на четыре.

Я остановился посреди прохода, не дойдя до неё. Гвоздь, шедший впереди, тоже остановился, обернулся и посмотрел на меня, потом туда, куда смотрел я. Он ничего не спросил, только переложил мешок на другое плечо и встал так, чтобы закрыть меня от рынка своей широкой спиной.

Мышка подняла голову и посмотрела на меня. Она смотрела не поверх головы, как смотрели здесь взрослые, а прямо в лицо, сквозь угольную пыль, и я видел, как она хмурит светлые брови, и как губы у неё чуть шевелятся. Потом она подняла куклу и помахала ею мне, медленно, серьёзно, как помахала тогда, и я понял, что она меня узнала.

— Мама, — сказала она тонким голосом. — Мама, это Ян. Только лысый.

Мать обернулась на её голос. Она посмотрела на Мышку, потом на меня, и я увидел, как у неё меняется лицо: сначала непонимание, потом узнавание, потом что-то третье, чего я не смог прочитать. Она смотрела мне в лицо долго, и я не отвёл глаз, хотя знал, что надо отвернуться и уйти.

Над входом в депо, далеко, за рядами прилавков, снова засветился красным экран. Голос Системы покатился под фермами, отражаясь от ржавого железа, и я слышал его даже здесь, в дальнем конце рынка: один миллион мест, один миллион мест, без налога Протокола. Мать Мышки повернула голову и посмотрела на экран, и на моё лицо на экране, в белом костюме, с бокалом.

Потом она посмотрела на дочь. Я видел, как она смотрит на Мышку, на её светлые спутанные волосы, на её худые руки, на куклу без руки у неё на коленях, и я знал, о чём она думает, потому что видел число дочери так же ясно, как видела его она в зеркальце у Бабы. Над девочкой висело шестьдесят пять дней, а на экране висел миллион, одиннадцать лет, и девочка дожила бы на них до восемнадцати, и, может быть, дальше, если мать отдала бы ей всё.

Я стоял и не мог двинуться. Я думал о Щупе, который стоял у главной двери турбинного зала за спинами Ищеек, без оружия, в слезах, и шевелил губами, говоря мне то ли «прости», то ли «Мелкий». Щуп выбирал между мной и своим братом, и выбрал брата, и я не мог его за это ненавидеть, как ни старался, потому что сам на его месте не знал бы, что выбрать.

Мать Мышки снова посмотрела на меня. Потом она шагнула вперёд, быстро, через прилавок, и схватила меня за рукав, крепко, обеими руками, точно так же, как схватила тогда, когда я сказал «я дам». Пальцы у неё были холодные и сильные, и я почувствовал, как они дрожат.

— Пастыри, — сказала она шёпотом. — Сзади тебя. Трое. Не оборачивайся.

Оборачиваться я не стал, хотя затылок у меня сразу похолодел. Гвоздь, стоявший рядом, медленно повернул голову и посмотрел через плечо, будто искал кого-то в толпе. Лицо у него стало каменным, тяжёлым, как стена штольни.

— Люди Сотника, — сказал он одними губами. — По рядам идут. В лица смотрят.

— Сюда, — сказала мать Мышки и потянула меня за рукав. — Быстро. Мышка, сиди. Сиди, где сидишь, и молчи. Ты никого не видела.

За последним прилавком, в самом конце депо, стояли старые вагоны. Я не видел их в прошлый раз, потому что не дошёл до них, повернул обратно у фермы, а теперь мать Мышки вела меня между ними, по узкому проходу, где пахло сыростью, ржавчиной и дымом. Вагоны стояли на рельсах в два ряда, длинные, с выбитыми окнами, заколоченными досками и листами железа, и в некоторых горел свет и слышались голоса.

Гвоздь остался у последнего прилавка. Он сказал мне вслед, тихо, сквозь зубы, «к яме, если что», и встал к прилавку боком, с мешком на плече, загородив собой проход между вагонами, и я видел, как он достаёт из кармана табак и медленно, неторопливо сворачивает самокрутку. Потом вагоны закрыли его, и мать Мышки втолкнула меня в узкую дверь одного из них.

Внутри было тесно и темно. Пол был застелен тряпьём, у стены стоял железный ящик, на котором горела маленькая коптилка, и на гвозде над ним висело детское платье, штопаное, выстиранное, сохнущее. Мать Мышки отодвинула ящик, подняла с пола кусок старого брезента и показала мне на угол, где между стеной и полом темнела щель под обшивкой.

— Ложись, — сказала она. — Туда. Я сверху тряпьём закидаю.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

Она долго посмотрела на меня. Лицо у неё в свете коптилки было усталым, серым, с глубокими тенями под глазами, и я видел, как дрожат у неё губы. Над её головой висело жёлтое число, месяца на четыре, и я подумал, что она знает о нём, наверное, так же, как знает о числе дочери, потому что каждое утро смотрит в зеркальце у Бабы.

— Миллион, — сказала она тихо, как будто я ничего не спрашивал. — Я видела. Я каждый час его вижу, с самого утра. Миллион мест. Я бы ей все отдала, до последнего места, она бы у меня до старости дожила. — Она замолчала и сглотнула. — Я стояла сейчас и думала, Господи, думала. Ты не думай, что не думала.

— Я знаю, — сказал я.

— Ты ей отдал, — сказала она. — Я помню. Ты подошёл и отдал, и даже не спросил ничего, и ушёл, и я тебе даже спасибо не сказала толком. — Она взяла меня за руку, за левую, здоровую, и сжала её. — Ложись. Ложись, Ян, или как тебя там. Я помню.

Я лёг в щель под обшивкой, на холодное железо, и она закидала меня тряпьём, сначала брезентом, потом старой курткой, потом чем-то мягким, пахнущим детским потом и дымом. Стало темно, тесно и душно, и я лежал, вжавшись щекой в железо, и слушал, как она ходит по вагону, как двигает ящик обратно к стене, как ставит на него коптилку. Потом шаги затихли у двери, и я понял, что она вышла.

Я лежал и думал о её числе. Четыре месяца, и шестьдесят пять дней у Мышки, и миллион на экране, который она могла бы получить, просто дойдя до Пастырей и показав рукой на этот вагон. Мне хотелось встать, выйти к ней и подставить шею Бабе, и отдать ей десять тысяч, двадцать, сто, сколько захочет, и я знал, что не могу, потому что серая коробка Бабы покажет ей моё число, весь мой остаток, как показала Шприцу, и через час здесь будет весь сектор.

Аппарата Сотника у нас больше не было. Щуп собрал его тогда в котельной, оба контура и оба экрана, и он остался на станции, в турбинном зале, залитом паром, или его унесли Ищейки, или его разбило взрывом. Я лежал под тряпьём, в чужом вагоне, с восемью миллионами шестьюстами тысячами мест над головой, и не мог отдать ни одного, ни одного места девочке, которая сидела в двадцати шагах от меня на перевёрнутом ящике.

Голоса я услышал не сразу. Сначала по проходу между вагонами прошли шаги, тяжёлые, неторопливые, и остановились у соседнего вагона, и кто-то постучал по железу кулаком. Потом шаги приблизились, и я услышал голос матери Мышки, высокий, сердитый, и мужской голос, низкий, ленивый.

— Пусти глянуть, мать. Чего прячешь?

— Нечего у меня прятать. Ребёнок там спит, не буди.

— Ребёнок вон на ящике сидит, — сказал мужской голос. — Я ж не слепой. Пусти, говорю.

Дверь вагона протяжно заскрипела на петлях. Я перестал дышать и слышал, как кто-то вошёл внутрь, как скрипнули под его ногами доски, как он остановился посередине вагона и, наверное, огляделся. Пахло от него потом и чем-то кислым, и я узнал этот запах раньше, чем узнал голос: так пахло от второго из Пастырей, коренастого, который держал меня за правый локоть в подтопленном тоннеле к старой насосной.

— Бедно живёшь, мать, — сказал он. — Девке твоей сколько осталось?

— Не твоё дело.

— Моё, — сказал он и засмеялся. — Нынче всё моё дело. Миллион слышала? Ракитинский где-то тут бегает, бритый, говорят, теперь. Баба видела, с Гвоздём из ячейки шёл какой-то бритый. Не видала такого?

— Не видала, — сказала мать Мышки. Голос у неё не дрогнул. — Гвоздя видала. Он мешок у меня рукавиц хотел купить, а не купил. Ушёл вон туда, к выходу.

Пастырь долго молчал у двери. Я слышал, как он переступает с ноги на ногу, как скрипят доски, и мне казалось, что он стоит прямо надо мной, над кучей тряпья, и смотрит на неё. Потом доски скрипнули снова, и шаги пошли к двери, и я выдохнул, медленно, беззвучно, в холодное железо.

— Если увидишь, — сказал Пастырь уже у двери, — мне скажешь, мне, не Ищейкам. Я с тобой поделюсь. Тысяч пятьдесят дам, девке твоей на полгода. Подумай, мать.

Дверь вагона закрылась за ним. Шаги ушли по проходу, и стало тихо, только где-то далеко, у входа в депо, гудел голос Системы, повторяя свой миллион. Я лежал под тряпьём и слушал, как мать Мышки стоит снаружи, у двери, и не входит, и не уходит, и я знал, что она думает о пятидесяти тысячах и о полугоде, и не мог её винить.

Потом снаружи кто-то громко закричал. Крик был далёкий, у прилавков, и сразу за ним раздался грохот, как будто упало что-то тяжёлое и железное, и кто-то выругался, грубо, зло, и кто-то другой засмеялся. Потом я услышал голос Гвоздя, громкий, нарочито громкий, такой, каким он говорил только тогда, когда хотел, чтобы его услышали издалека.

— Руки убрал! — гремел он. — Я сказал, руки убрал, я тебе не мешок! Ты кто такой, чтоб меня за куртку лапать?

Дверь вагона распахнулась настежь, ударившись о стену. Мать Мышки вбежала внутрь, отшвырнула тряпьё и потянула меня за плечо. Лицо у неё было белое, мокрое, и губы дрожали.

— Баба сказала, — выдохнула она. — Баба им сказала, что ты бритый и что Гвоздь за тебя платил. Они у прилавка Гвоздя держат, а двое сюда идут, по вагонам. Наверх давай. Через крышу. Там люк.

Люк был в потолке, в дальнем конце вагона, квадратный, с ржавой ручкой. Мать Мышки встала на ящик и отодвинула засов, и люк откинулся наверх с тяжёлым скрежетом, и сверху

посыпалась ржавчина. Я встал на ящик рядом с ней, ухватился за край и подтянулся, и мать Мышки толкнула меня снизу, в ноги, изо всех сил.

На крыше вагона было темно и пыльно, и пахло голубиным помётом, хотя голубей здесь не было, наверное, лет сто. Над головой тянулись ржавые фермы депо, низко, так низко, что я мог бы дотянуться до них рукой, и я лёг на живот, на холодное железо, и пополз к краю. Внизу, в проходе между вагонами, мелькали фонари, и голоса перекликались, и кто-то стучал по дверям.

— Здесь его нет! — крикнул кто-то внизу. — Кто люк открыл?

— Наверху он! — заорал другой голос. — На крыше! Вон, ползёт!

Я поднялся на ноги и побежал. Крыша вагона была покатой, скользкой от пыли, и ботинки Хромого, на размер больше, скользили по ней, и я бежал, раскинув руки, как бегают по бревну над ручьём, и не смотрел вниз. В конце вагона была щель, метра полтора, до следующего, и я прыгнул, не останавливаясь, и упал на соседнюю крышу на колени, и почувствовал, как под ладонью, под повязкой, вспыхнула старая боль.

Позади меня гулко загрохотало железо. Кто-то лез за мной через люк, тяжело, с руганью, и я слышал, как он срывается и лезет снова. Я поднялся и побежал дальше, к последнему вагону, к самому концу депо, туда, где под фермами темнела стена, и где, как говорил Гвоздь, должна была быть крайняя смотровая яма.

Внизу кто-то бежал вдоль вагонов, наравне со мной, и светил вверх фонарём. Луч метался по фермам, по крышам, нащупывал меня, и я пригибался и бежал дальше, и считал вагоны, третий, четвёртый, пятый. На пятом вагоне луч нашёл меня и остановился, и в глаза мне ударил белый свет, и я на мгновение ослеп и чуть не сорвался с края.

— Стой, ракитинский! — крикнули снизу. — Стой, не дури! Живым велено, живым и возьмём!

Останавливаться я всё-таки не стал. Я вспомнил Сиплого с его шрамом поперёк горла, и аппарат Сотника, и тупик, где меня держали за локти, и бежал дальше, на ощупь, по краю крыши, с белым пятном в глазах. Последний вагон кончился раньше, чем я ждал, и я едва успел затормозить, и встал на самом краю, и посмотрел вниз.

Под последним вагоном, между рельсами, чернела яма. Она была узкая, длинная, обложенная по краям старым кирпичом, и уходила под вагон, в темноту, и из неё тянуло холодом и стоячей водой. До неё было метра три, может быть больше, и на краю ямы, внизу, уже стоял человек с фонарём, в кожаной куртке, и смотрел на меня снизу вверх, и улыбался.

— Прыгай, — сказал он. — Прыгай, я поймаю. Мне живой нужен.

Я стоял на краю и не знал, что делать. Сзади, по крышам вагонов, гремели шаги, второй Пастырь бежал за мной, тяжело дыша, и я слышал, как он хрипит. Внизу стоял парень в кожаной куртке, над ним висело жёлтое число месяцев на семь, и если я прыгну, он меня поймает, а если он меня поймает, мне придётся положить руку ему на шею, а я знал, чем это может кончиться, если я не удержусь.

Тогда из темноты между вагонами вылетел Гвоздь. Он вылетел без мешка, с ружьём за спиной, с рассечённой бровью, из которой текла кровь, и врезался в парня в кожаной куртке плечом, всем своим весом, как врезается вагонетка в тупиковый упор. Парень отлетел к рельсам, фонарь выпал у него из руки и покатился, и луч заметался по стенам, по фермам, по вагонам.

— Прыгай! — заревел Гвоздь. — В яму прыгай, ракитинский! Ползи!

Я прыгнул вниз, в темноту. Я падал долго, так мне показалось, и ударился о дно ямы ногами, и упал на бок, в холодную стоячую воду, по щиколотку, и вода залилась в ботинки Хромого. Надо мной, на краю ямы, мелькнул Гвоздь, огромный, тёмный, и я увидел, как он поднимает над головой старую тяжёлую шпалу и бросает её поперёк ямы, наверх, на край, загораживая вход.

— Гвоздь! — крикнул я.

— Ползи, сказал! — донеслось сверху. — Я за тобой! Ползи!

Яма уходила под вагоны, в темноту, длинная, узкая, и я пополз по ней на четвереньках, по холодной воде, по скользкому кирпичу, волоча за собой мешок с пакетами, который так и не выпустил из рук. Где-то наверху, над головой, гремело железо и кричали голоса, и сквозь щели в днище вагонов сыпалась ржавчина, и луч фонаря проскальзывал в эти щели и гас. Потом яма кончилась кирпичной стеной, и в стене, у самого дна, темнела круглая дыра, забранная решёткой.

Решётка была открыта, как говорил Гвоздь. Она висела на одной петле, ржавая, перекошенная, и я отодвинул её плечом и пролез в дыру, в трубу водостока, такую узкую, что приходилось ползти на локтях, втянув голову в плечи. Вода здесь стояла почти под самый свод, и я полз, задерживая дыхание, поднимая лицо к своду, где оставалась узкая полоска воздуха.

Я не знаю, сколько я полз. Мне казалось, что очень долго, что труба никогда не кончится, и я думал о затопленной шахте, через которую меня вела ячейка в первый день, и о Кире, которая держала тогда верёвку у меня на руках. Потом впереди, в темноте, засветилось маленькое жёлтое пятно, и я пополз к нему, и пятно стало больше, и превратилось в лампу из консервной банки, и над лампой я увидел серый ноль.

— Руку давай, — сказала Кира.

Она лежала на животе на краю трубы, там, где водосток выходил в старый тоннель, и тянула ко мне руку. Я ухватился за неё левой, здоровой, и она потянула, и я выполз из трубы на сухой камень, мокрый, грязный, дрожащий, с мешком пакетов в другой руке. Лиза стояла за ней, с пистолетом Киры в руках, и целилась в трубу, и руки у неё не дрожали.

— Гвоздь? — спросила Кира.

— Сзади, — сказал я. Зубы у меня стучали, и я с трудом выговаривал слова. — Он сказал, что за мной. Он шпалу бросил, чтобы они в яму не полезли.

Мы ждали его у трубы. Кира сидела на корточках у трубы, держа лампу, и смотрела в темноту, и лицо у неё было неподвижное, спокойное, такое, каким оно было в турбинном зале перед атакой. Лиза стояла с пистолетом и не опускала его, и я видел, как у неё побелели пальцы на рукояти, и как она закусила губу.

Гвоздь появился через несколько минут, которые показались мне часом. Сначала из трубы донеслось его тяжёлое, хриплое дыхание и плеск воды, потом показалась его голова, бритая, мокрая, с длинным бугристым шрамом и с рассечённой бровью, из которой всё ещё текла кровь, смешиваясь с водой. Он выполз на камень, сел, прислонившись спиной к стене, и долго дышал, не говоря ни слова.

— Мешок мой они взяли, — сказал он наконец. — Ружьё отбил, а мешок взяли. Жалко, там вода была.

— Ты ранен, — сказала Лиза и опустила пистолет.

— Бровь. — Гвоздь махнул рукой. — Бровь заживёт, бровь ерунда. Баба нас сдала, гнида золотая. Я ей шесть тысяч сверху дал, а она нас за обещание сдала. Люди Сотника ей пообещали, она и сдала.

— А мать Мышки? — спросил я.

Гвоздь поднял голову и посмотрел на меня. Он смотрел долго, тяжело, и в его маленьких глазах под тяжёлыми бровями было что-то, чего я раньше не видел. Кровь из брови стекала ему на щёку, и он не вытирал её.

— Не сдала, — сказал он. — Стояла у вагона, когда они меня у прилавка держали. Смотрела. Ей Пастырь что-то говорил, тыкал пальцем, а она головой мотала. Потом девку свою на руки взяла и ушла куда-то за вагоны. Не сдала, ракитинский. За миллион не сдала.

* * *

Мы ушли от депо далеко, в старый тоннель, который тянулся на юг, к Южной насосной, и остановились только тогда, когда голос Системы за спиной затих совсем. Лиза промыла Гвоздю бровь водой из фляги и стянула края раны полоской пластыря из сумки Киры, а Гвоздь сидел смирно и только морщился. Пакеты из моего мешка мы разложили на камне и пересчитали, и их было четырнадцать, на неделю на двоих, или на три с половиной дня на четверых.

— Хватит, — сказал Гвоздь. — Растянем. Ферко говорил, у Южной насосной забегаловка, там можно ещё взять. Без Бабы.

Я сидел у стены, мокрый, грязный, с угольной пылью, размазанной по лицу водой, и не мог согреться. Кира сидела рядом со мной, и её плечо касалось моего плеча, и я чувствовал сквозь мокрую ткань её тепло. Над ней мерцал серый ноль, и в сигнале тонко дрожала струна, и я слушал её и думал о Мышке.

— Я хотел ей отдать, — сказал я тихо. — Прямо там. Хотел подойти к Бабе и подставить шею. Десять тысяч, двадцать, сто. Сколько угодно.

— Не мог, — сказала Кира. Это был не вопрос.

— Не мог. Коробка показала бы моё число. Как Шприцу. — Я посмотрел на свою правую руку, на грязную, мокрую повязку. — У меня восемь миллионов шестьсот тысяч, Кира. Я мог бы отдать ей годы. Ей и её матери, и всем, кто сидел у этого экрана. И не могу отдать ни одного места. Мне нечем.

— Аппарат был у Щупа, — сказала Кира. — Остался на станции.

— Я знаю.

Кира долго ничего не отвечала. Потом взяла мою левую руку, здоровую, и положила её себе на колено, ладонью вверх, как положила тогда в нарядной, в первую ночь после Узла. Она ничего не говорила, просто держала мою руку, и я чувствовал её пальцы, прохладные, жёсткие, на своей ладони.

— Она могла тебя продать, — сказала Кира наконец. — За миллион. У неё девка на жёлтом, это всем видно, кто в зеркальце глядел. Она могла.

— Могла, — сказал я.

— Щуп продал, — сказала Кира тихо. — За брата. А эта не продала. — Она помолчала. — Я не знаю, кто из них прав, Саша. Я раньше думала, что знаю.

Я тоже этого не знал. Я сидел в тёмном тоннеле, мокрый, голодный, с её ладонью на своей ладони, и думал о матери Мышки, которая стояла у вагона и мотала головой, и о Щупе, который стоял у двери турбинного зала и шевелил губами. Мне казалось, что разница между ними совсем не в том, что одна была лучше другого, а в том, что Щуп однажды не получил ничего ни от кого, а мать Мышки однажды получила, и запомнила, и это перевесило миллион.

Я вспомнил мальчика в капсуле Т-40, в транзитном Узле за Южной насосной, и кровавый отпечаток моей ладони на крышке, и свои слова «я вернусь». Теперь я обещал себе вернуться ещё к одному человеку, к девочке на перевёрнутом ящике с тряпичной куклой, и не знал, чем заплачу, когда вернусь, и не знал, вернусь ли. Мне нужна была машина, коробка с двумя контурами и двумя экранами, а у меня была только правая рука, которая умела держать и умела сжимать, и не умела отдавать.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло, ровно через шесть минут. Я сосчитал, сам того не желая: у Мышки шестьдесят пять дней, у Марка триста двадцать три, у Киры месяц, может два, минус неделя. Кира сидела рядом со мной и держала мою руку на своём колене, и не знала, что я считаю, и я не сказал ей.

Глава 5

Старая выработка, где нас нашли, называлась Косой. Гвоздь сказал это вечером двадцать шестого дня, когда мы спустились в неё по осыпи из низкого бокового хода, и сказал так, будто извинялся за неё: косая она потому, что пласт здесь шёл под углом, и рубили его тоже под углом, и пол в ней везде наклонный, как крыша. Идти по такому полу было трудно, ноги всё время съезжали вниз, к правой стене, где в узкой канаве стояла чёрная неподвижная вода.

Мы шли от депо полтора дня, почти не останавливаясь. Четырнадцать пакетов лежали у меня в мешке, и мы ели по половине пакета утром и по половине вечером, и Гвоздь говорил, что до забегаловки у Южной насосной хватит, а там видно будет. Бровь у него зажила плохо, пластырь Лизы отклеился ещё в первую ночь, и рана то и дело начинала кровить, и Гвоздь вытирал её рукавом, не замечая.

У Марка вечером двадцать шестого дня оставалось триста двадцать два дня. Я посчитал это на ходу, как считал всегда, а потом посчитал Мышку, шестьдесят четыре дня, и ещё одно число, которое не было записано ни над чьей головой, а лежало у меня в нагрудном кармане, на обрывке старой схемы. Над Кирой, шедшей впереди, мерцал серый ноль, и в сигнале, давящем на её шунт, тонко дрожала струна, и мне казалось, что за последние два дня она стала дрожать чуть чаще.

— Здесь заночуем, — сказал Гвоздь, остановившись у широкого уступа в стене. — Дальше спуск крутой, в темноте шею сломаем. Тут сухо, и вода рядом.

— Камеры? — спросила Кира.

— Не видел ни одной, — сказал Гвоздь. — От самого депо не видел. Сюда кабель не тянули, далеко.

Я тоже не видел ни одной. Это должно было меня успокоить, и не успокаивало, потому что за последние дни я привык к красным точкам под сводами так, как привыкают к больному зубу, и без них мне было не по себе, как бывает не по себе, когда зуб вдруг перестаёт болеть. Я сел на уступ, положил мешок рядом и стал разматывать грязную повязку на правой руке, чтобы Лиза посмотрела ладонь.

Лиза посмотрела и сказала, что заживает. Кожа на ладони была розовая, тонкая, блестящая, как бывает после ожога, и мазь Гончего всё ещё пахла ничем, и Лиза намазала её тонким слоем и замотала руку чистой полоской, оторванной от подола своей нижней рубашки. Нижняя рубашка у неё за эти дни стала короче на ладонь, и я сказал ей об этом, и она посмотрела на меня так, что я пожалел.

Гвоздь услышал их первым из нас. Он сидел у края уступа, спиной к нам, и вдруг поднял руку, не оборачиваясь, ладонью к нам, и мы замолчали. Я слушал вместе с ним и сначала не слышал ничего, кроме капели и тихого потрескивания фитиля в лампе Киры, а потом услышал тоже: далеко внизу, в той стороне, куда уходил наклонный пол выработки, кто-то шёл по воде.

Шёл там не один человек. Шагов было много, они то сливались, то распадались, и среди них я различил стук металла о камень, мерный, как стук трости, и скрип чего-то тяжёлого, что несли на плечах. Потом внизу, в темноте, загорелся свет, белый, резкий, кварцевый, и ударил вверх по наклонному полу, по стенам, по чёрной воде в канаве, и остановился на нас.

— Сзади, — сказала Кира тихо. — Гвоздь, сзади тоже.

Я обернулся на её голос. В боковом ходе, по которому мы спустились в выработку, тоже горел свет, жёлтый, тусклый, от самодельного фонаря, и в этом свете стояли двое, и у одного в руках было что-то длинное. Над ними висели жёлтые числа, и я узнал по числу одного из них, жёлтое месяцев на семь, ещё раньше, чем узнал его кожаную куртку.

Снизу, из белого света, раздался голос. Голос был мягкий, учтивый, неторопливый, голос продавца из хорошей лавки на Медицинском уровне, и я узнал его сразу, хотя слышал всего

один раз, в старой насосной, лёжа в кожаном кресле, пристёгнутый ремнями за руки и за лоб. От этого голоса у меня до сих пор холодело в затылке, там, где сидел чип.

— Добрый вечер, Александр Викторович, — сказал Сотник. — Простите, что без предупреждения. Я бы предупредил, если бы знал, куда писать.

Он вышел на свет медленно, давая себя рассмотреть. На нём было то же тёмно-серое пальто хорошего сукна, только подол теперь был мокрый и тяжёлый от воды, и та же белая рубашка, застёгнутая на все пуговицы, и та же аккуратная седая бородка. Рядом с ним стоял низкорослый человек с огромным кварцевым фонарём на ремне через плечо, и я вспомнил, что его зовут Хорёк и что он отвечает у Сотника за свет.

Над Сотником висело белое число, шесть миллионов двести девяносто тысяч с чем-то, собранное из чужих мест. Я смотрел на это число и думал, сколько в нём людей, сколько ночей вроде той, которую Кира провела привязанной к стулу на кухне, и сколько стариков вроде Ефрема Ильича, отдавших ему свои склады. Пахло от него одеколоном, тонким, горьковатым, и запах этот доходил до нас даже сюда, через всю выработку.

— Нас тут шестеро, — продолжал Сотник тем же мягким голосом. — Двое у вас за спиной, четверо со мной. У меня, если не ошибаюсь, оружия больше, и свет мой. Давайте не будем делать глупостей, Александр Викторович, у меня от них портится настроение.

— Чего тебе надо? — спросил Гвоздь. Он стоял на краю уступа, широко расставив ноги, с ружьём в руках, и ствол смотрел вниз, в белый свет.

— Мне? — Сотник улыбнулся. — Мне надо то же, что и всем, уважаемый. Миллион мест без налога. Только я, в отличие от всех, знаю, что Ищейки этот миллион через пункт не дадут. Дадут сто тысяч и благодарность Совета, а остальное запишут на беспокойство. Я лучше сам отвезу Александра Викторовича наверх, к отцу, и сам с отцом поговорю. Отец, говорят, человек слова.

— А мы? — спросила Лиза.

— Вы мне не нужны, девушка. — Сотник развёл руками. — Идите куда хотите. Вас никто не тронет, слово даю. Даже Ноль может идти. — Он помолчал и посмотрел на Киру, прямо, долго, и я увидел, как у него чуть дрогнули губы. — Хотя мы с Нолём старые знакомые. Правда, девочка?

Кира ничего ему не ответила. Она стояла рядом со мной, неподвижная, и держала в правой руке свой старый тяжёлый пистолет с облезлой рукоятью, опустив его к бедру. Я знал, что в пистолете один патрон, и Гвоздь знал, и Лиза знала, и Сотник, наверное, не знал, и я видел, как Кира смотрит на него поверх белого света, не моргая, и как над ней мерцает серый ноль.

— Ракитинский, — сказал Гвоздь тихо, не поворачивая головы. — Как свет погаснет, ложись. Прямо где стоишь, ложись и не вставай.

— Какой свет? — прошептал я.

Гвоздь ничего мне не ответил. Он поднял ружьё медленно, спокойно, так, будто хотел почесать стволом плечо. Потом прицелился, коротко, на один вдох, и выстрелил.

Выстрел грохнул под низким сводом так, что у меня заложило уши. Кварцевый фонарь на плече Хорька взорвался белыми брызгами, и свет погас разом, весь, и стало темно, черно, так, как бывает черно только здесь, внизу, где темнота не разбавлена ничем. Я лёг, как велел Гвоздь, ничком на наклонный камень уступа, и услышал, как Кира задувает свою лампу, и как сзади, в боковом ходе, кто-то роняет фонарь, и как он катится вниз по осыпи, звякая и угасая.

Потом всё смешалось в темноте. Я лежал и слышал, как внизу кричит Хорёк, тонко, по-заячьи, и как Сотник говорит что-то, всё тем же ровным голосом, только громче, и как по воде в канаве бегут люди, и как они оскальзываются на наклонном полу и падают. Рядом со мной кто-то прыгнул с уступа вниз, тяжело, и я понял по дыханию, что это Гвоздь, и что он идёт навстречу тем, кто снизу.

Я лежал и считал щелчки. Я лежал лицом в камень и считал щелчки, потому что это было единственное, что я мог делать в темноте, и ждал, что сейчас число в верхнем краю моего зрения щёлкнет не вовремя, внеочередным щелчком, и это будет значить, что кто-то здесь дошёл. Щелчка не было, и я продолжал считать, и слушал удары, глухие, тяжёлые, и хриплое дыхание, и звон металла о камень.

Кто-то упал на уступ рядом со мной. Я почувствовал это раньше, чем услышал: камень под щекой вздрогнул, и на меня пахнуло потом, кислым, и табаком, и ещё чем-то, похожим на ржавчину. Потом чужая рука нашла в темноте мою ногу, мой ботинок, ботинок Хромого, и вцепилась в него, и потянула вниз, к краю уступа.

— Есть! — заорал над ухом хриплый голос. — Взял! Свет давай, взял я его!

Я не видел его самого. Я видел только его число, жёлтое, месяцев на семь, висевшее в черноте прямо надо мной, как висит в тумане фонарь, и понял, что это тот самый, из депо, второй из тех, в кожаных куртках, коренастый, что держал меня за правый локоть в подтопленном тоннеле к старой насосной. Он тянул меня за ногу к краю уступа, и я цеплялся пальцами левой руки за камень, и пальцы соскальзывали.

Потом он навалился на меня сверху, всем весом, и прижал к камню, и я почувствовал, как его рука ищет в темноте мою шею, мой затылок, нащупывает воротник рубашки Хромого. Я извернулся под ним, ударил его локтем, не попал, и он засмеялся мне в ухо, коротко, зло, и сжал пальцы у меня на загривке. Пальцы у него были сильные, жёсткие, и пахли ржавым железом.

— Живым, — сказал он, тяжело дыша. — Живым велено. Не дёргайся, ракитинский, не дёргайся, а то шею сверну, и никто не узнает, живым или как.

Я не думал, когда сделал это. Моя правая рука, в чистой повязке Лизы, сама нашла в темноте его шею, тёплую, мокрую от пота, с жёсткими нитями свежей некросетки под пальцами, и легла на неё ладонью, раскрытой, как я клал её на порт Киры. Под ладонью, под тонкой повязкой, под кожей, глубоко, у основания черепа, я почувствовал его чип.

Чип был живой, горячий, торопливый, и сигнал давил на него сверху, тяжело и ровно, как давит вода на дно колодца. Я слышал этот сигнал так ясно, как не слышал никогда, даже в Слепой, даже у Киры, и знал, что могу сделать сейчас, и знал, что мне ничего не стоит сжать пальцы, как сжал их тогда, в Узле, на шее Кости. Под ладонью у меня было семь месяцев чужой жизни, и я держал их, как держат в руке птицу, и чувствовал, как она бьётся.

Сжимать его чип я не стал. Я подставил ладонь под сигнал, как подставлял её на порту Киры, под струю холодной воды, не трогая ни камня, из которого течёт вода, ни чаши, в которую она падает, и держал. Сигнал ударил мне в ладонь и пошёл в руку, в плечо, в затылок, холодный, тонкий, как игла, и я держал его, и знал, что сейчас там, под моей ладонью, человек в кожаной куртке не слышит ничего, совсем ничего, впервые в жизни.

Человек надо мной вдруг закричал. Это был не тот крик, каким кричат от боли, а другой, высокий, тонкий, сорванный, как кричат во сне маленькие дети, когда просыпаются в темноте и не могут найти мать. Его пальцы на моём загривке разжались, и всё его тело дёрнулось, и выгнулось, и обмякло, и он скатился с меня на камень и остался лежать, и крик оборвался.

Руку я убрал от него сразу. Из носа у меня текло, горячее, солёное, на губы, на подбородок, и в ушах звенело так, что я не слышал больше ни ударов, ни голосов, и в глазах плавали белые пятна. Я лежал на камне рядом с ним и смотрел в темноту, туда, где только что висело его число, и не видел его, и на секунду мне стало так страшно, что перехватило дыхание.

Потом его число загорелось снова. Оно висело там же, над камнем, жёлтое, месяцев на семь, ровное, спокойное, и я смотрел на него, и считал про себя, и ждал щелчка, внеочередного, чужого. Внеочередного щелчка так и не было. Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло ровно через шесть минут после предыдущего, как всегда, и я понял, что человек в кожаной куртке жив и просто лежит без сознания.

Я сделал это открытой ладонью. Я держал его сигнал и не сжал, и он упал не от смерти, а от того, что на несколько секунд остался один, без сигнала, в полной тишине, и не выдержал этой тишины. Мне стало холодно от этой мысли, холоднее, чем от сигнала, потому что я понял, что тишина эта, которую Кира называла благом, для любого другого человека была ужасом.

Внизу всё стихло раньше, чем я пришёл в себя. Я лежал и слушал, как кто-то бежит прочь по воде, далеко, шумно, не разбирая дороги, и как кто-то другой стонет, низко, сквозь зубы, и как падают камни с осыпи в боковом ходе. Потом вспыхнула спичка, маленький жёлтый огонёк, и Кира зажгла от неё свою лампу из консервной банки, и подняла её над головой.

Свет был тусклый, дрожащий, и в нём выработка казалась ещё ниже и ещё кривее, чем была. Внизу, у канавы с водой, сидел Гвоздь, прислонившись спиной к стене, и держался обеими руками за бедро, и между его пальцами текло тёмное. Рядом с ним, у самой воды, стоял Сотник, а у ног Сотника лежал на боку Хорёк, без фонаря, без сознания.

Он стоял неподвижно, в своём мокром пальто, подняв руки до уровня плеч, ладонями вперёд. Перед ним, в двух шагах, стояла Кира, и её старый тяжёлый пистолет с облезлой рукоятью смотрел ему в лицо, в переносицу, между седыми бровями. Остальных не было: те, что пришли с ним снизу, убежали, и те, что стояли в боковом ходе, тоже, и рядом со мной на уступе лежал только человек в кожаной куртке, и дышал, ровно и тихо.

— Лиза, — позвал Гвоздь хрипло. — Иди сюда, Лиза. Ножом зацепили. Не сильно, а глубоко.

Лиза уже бежала к нему вниз по наклонному полу, оскальзываясь, на ходу разрывая подол своей нижней рубашки. Она упала перед ним на колени, отвела его руки, и я услышал, как она тихо охнула, а потом заговорила быстро, ровно, деловито, тем голосом, каким, наверное, говорила с больными на станции. Гвоздь застонал сквозь зубы, когда она затянула повязку, и выругался коротко, без слов, одним выдохом.

Я поднялся с камня на ноги. Ноги держали плохо, и я спускался с уступа медленно, держась за стену, вытирая рукавом кровь с губ. Сотник услышал мои шаги и повернул голову, не опуская рук, и посмотрел на меня, и в его светлых глазах я не увидел ни страха, ни злости, а только внимание, спокойное, цепкое, как у человека, который прикидывает цену.

— Вы, Александр Викторович, что-то сделали с Лисом, — сказал он. — Я слышал, как он кричал. Я много лет слышу, как люди кричат, и так не кричал никто.

Я ничего ему не ответил. Я подошёл и встал рядом с Кирой, на шаг позади, справа, и посмотрел на её лицо. Лицо у неё было белое, как известь, и совершенно спокойное, и только на шее, под самым ухом, быстро-быстро билась тонкая жилка.

— Десятник, — сказала Кира.

Она сказала это тихо, почти ласково, так, как зовут по имени старого знакомого. Сотник чуть заметно вздрогнул, и я увидел, как у него дёрнулся уголок рта под седой бородкой. Хорёк у его ног застонал и затих.

— Давно меня так не звали, — сказал он. — Лет пять, наверное. Сотником зовут теперь.

— Три года, — сказала Кира. — Три года назад звали Десятником. Ты был Десятником, когда пришёл к нам на кухню. Ты помнишь кухню?

— Я много кухонь помню, девочка.

— Нашу ты помнишь. — Кира не шевельнулась, ствол не дрогнул. — Стол у окна, клеёнка в синюю клетку. Три стула. Четвёртый стул ты принёс из комнаты, для меня. Ты сказал, чтобы меня последней, чтобы смотрела. Помнишь?

Сотник долго молчал в ответ. Он смотрел на Киру, на её белое лицо, на пистолет в её руке, и я видел, как в его светлых глазах что-то медленно меняется, как меняется вода в канаве, когда на дно опускается камень. Потом он вздохнул, глубоко, и чуть опустил поднятые руки.

— Помню, — сказал он. — Клеёнку не помню. Стул помню. Мальчишку помню, брата твоего. Он не плакал. Все плачут, а он не плакал, всё на окно смотрел.

Я почувствовал, как Кира рядом со мной перестала дышать. Её палец на спусковом крючке побелел, и я видел это, и видел, как ствол опускается на волосок и снова поднимается, и как жилка у неё на шее бьётся всё чаще и чаще. Я стоял и молчал, и не двигался, и не знал, что мне делать, и знал, что не должен ничего говорить.

Над Сотником висело белое число, шесть миллионов двести девяносто тысяч. Я смотрел на него и считал, сам не желая, как считал всегда. Нажмёт Кира на спуск, и это число погаснет, как погасло число Бура под прожектором, и моё число щёлкнет внеочередным щелчком, и где-то далеко, в другом секторе, в другом коридоре, погаснет ещё одно число, чёрное, последнее, у человека, которому оставалось ещё несколько часов.

Я не знал, кто это будет. Старик в Отстойнике, или женщина в чёрном платке у лампы на перекрёстке, как в день обвала, или девочка на перевёрнутом ящике, если её число вдруг прыгнет. Тихий говорил, что каждая смерть здесь, внизу, это две смерти, и что это не мы придумали, и Кира слышала это от него раньше меня, и знала лучше меня.

Я не сказал ей ничего. Я стоял на шаг позади неё и смотрел на число Сотника, и думал о втором числе, о том, которого не видел, и мне казалось, что Кира чувствует, о чём я думаю, хотя она не могла этого чувствовать. Она не оборачивалась ко мне, но плечи у неё чуть дрогнули, как будто её кто-то тронул за спину.

— Кто заказал? — спросила Кира. Голос у неё стал хриплым, чужим.

— Что? — переспросил Сотник.

— Ты сказал тогда: нам заплатили, чтобы вас не было. Ничего не взяли. Ни одного места. Кто заплатил?

Сотник долго смотрел на неё. Потом медленно, осторожно, не делая резких движений, опустил руки и сложил их перед собой, одна на другую, как складывают руки продавцы за прилавком. Он больше не улыбался, и голос у него, когда он заговорил, был уже не мягкий и не учтивый, а усталый, старый, обыкновенный.

— Я скажу, — сказал он. — Скажу всё, что знаю. За жизнь. Ты меня отпустишь, а я тебе скажу, и мы больше никогда не увидимся. Это честная цена, девочка, другой у меня нет.

— Говори, — сказала Кира. — Потом решу.

— Нет, — сказал Сотник. — Сначала реши.

Они стояли друг против друга долго, может быть, минуту, может быть, больше. Внизу, у стены, стонал Гвоздь, и Лиза что-то тихо говорила ему, и вода капала со свода в канаву, мерно, как часы. Я считал капли, потому что не мог больше считать щелчки, и насчитал тридцать две.

— Ладно, — сказала Кира. — Говори. Отпущу.

Сотник кивнул, словно услышал то, что ожидал. Он оглянулся на Хорька, лежавшего у его ног, потом на тёмный ход за своей спиной, куда убежали его люди, и снова посмотрел на Киру. Мне показалось, что он решает, с чего начать, как решает продавец, какой товар показать первым.

— Заказ пришёл через серых халатов, — сказал он. — Ты это знаешь, я тогда сказал при тебе. Серые халаты с Медицинского уровня, те, что ездят в транзитный Узел на закрытом вагоне. Они мне и раньше заказы привозили, на доноров. Только тот заказ был другой. Не взять места, а убрать семью. Чисто, без следов, мест не брать.

— Кто их послал? — спросила Кира.

— Я тоже спросил. Мне такое не нравилось, девочка, хочешь верь, хочешь нет. Места брать, это работа, а людей убирать, это другое, за это дороже платят и дольше помнят. — Сотник помолчал. — Серый халат сказал, что не моё дело. Я сказал, что тогда не пойду. Тогда он показал бумагу.

— Какую бумагу?

— Обычную. Бланк, с печатью, с подписью. — Сотник поднял руку и провёл пальцем в воздухе, будто чертил. — Сверху написано «Управление Складов Протокола». Внизу печать,

круглая, с колосьями. Подпись я не разобрал, а печать видел хорошо. Это была не просьба, это был приказ. Склады распорядились, Медицинский уровень исполнил, а мы, внизу, сделали работу.

Я слушал и не мог поверить. Управление Складов, это было ведомство Казначея, человека, который сидел в Совете по правую руку от моего отца и который трижды в год приходил к нам на ужин. Арсений Вольский, с его седыми висками и его тихим голосом, и его дочь, Ника, которая повязала мне на шею тёмно-серый шёлковый платок и сказала, что мы пара.

— Склады, — повторила Кира. — Почему Склады?

— А ты не знаешь? — Сотник посмотрел на неё внимательно. — Отец твой в приёмке работал, на Складе. Я тогда, после, узнал, интересовался. Твой отец ходил по конторам, по начальству, и спрашивал. Всем одно и то же спрашивал: откуда яблоки. Настоящие, с хвостиками, с листиками, в ящиках для Шпилей. Говорил, что такие не напечатаешь, что такие на деревьях растут, а деревьев под Куполом нет. Месяц ходил и спрашивал.

Кира не шевельнулась и не ответила. Я видел её плечо и край щеки, её узкие плечи под тёмной курткой и руку с пистолетом, вытянутую вперёд, и эта рука вдруг дрогнула, совсем чуть-чуть, как дрожит струна, когда по ней проводят пальцем. Потом рука снова стала неподвижной, как железная.

— Кто ж такое спрашивает, — сказал Сотник тихо, почти с жалостью. — Внизу никто такого не спрашивает. Внизу знают, что есть вопросы, за которые платят не местами. Твой отец не знал, потому что всю жизнь в приёмке простоял и думал, что раз он работает, то ему всё можно спросить.

— Чьи люди? — спросила Кира. — Кто в Складах? Кто там главный?

— Ты сама знаешь кто, — сказал Сотник. — Все знают. Казначей Совета. Вольский. Это его люди, девочка, его управление, его печать. Я не говорю, что он сам подписал. Я говорю, что без него там даже скрепку не выдают.

Мне вдруг стало трудно дышать. Я стоял в старой выработке, в холодной, кривой, тёмной, и вспоминал запах, тонкий, горьковатый, который чувствовал от Сотника весь этот вечер. Я знал этот запах с детства, он стоял в нашей малой столовой после каждого ужина с Вольскими, и мать проветривала потом комнату, и говорила Тоне, что у Арсения тяжёлая рука на одеколон.

— Вы пахнете, как он, — сказал я. Голос у меня был сиплый, и я сам его не узнал.

Сотник повернул голову и посмотрел на меня. Он смотрел долго, удивлённо, и потом вдруг улыбнулся, впервые за весь разговор, тонко, горько. Улыбка эта сделала его старше лет на десять.

— Вы, Александр Викторович, наблюдательны, — сказал он. — Мне его подарили. Флакон. Серый халат привёз, вместе с оплатой, сказал, от людей, которые ценят хорошую работу. Я с тех пор другого не покупаю. Нравится он мне. Пахнет так, как пахнет наверху.

Кира всё ещё не опускала пистолет. Она стояла, вытянув руку, и я видел, как ствол смотрит Сотнику в переносицу, и как её палец лежит на спусковом крючке, белый, неподвижный. Над ней мерцал серый ноль, и в сигнале, давящем на её шунт, струна дрожала так, как не дрожала ещё никогда, часто, высоко, тревожно.

Я не мог ничего сказать. Я знал, что если скажу хоть слово, она выстрелит, или не выстрелит, но в любом случае сделает это из-за моего слова, а не из-за своего. Я стоял и смотрел на число Сотника, белое, огромное, собранное из чужих жизней, и думал о втором числе, чёрном, маленьком, которого не видел и не мог увидеть.

— Ты обещала, — сказал Сотник негромко. — Я сказал. Ты обещала.

— Я помню, что обещала.

— Тогда стреляй или отпускай, девочка. Я старый, у меня ноги мёрзнут.

Кира долго молчала в ответ. Я слышал её дыхание, частое, неровное, и слышал, как Гвоздь внизу перестал стонать и затих, и как Лиза перестала говорить. Вода капала со свода

в канаву, мерно, громко, и мне казалось, что эти капли падают прямо мне на затылок, туда, где сидел чип.

Потом Кира медленно, очень медленно, опустила руку. Пистолет опустился к бедру, ствол смотрел теперь в камень, под ноги Сотнику, и пальцы на рукояти разжались, и снова сжались. Она стояла и смотрела на Сотника, и я видел её лицо в профиль, белое, неподвижное, с рассечённой бровью, через которую шёл старый шрам.

— Ты не стоишь двух смертей, — сказала она.

Сотник её сначала не понял. Я видел, как он хмурится, как переводит взгляд с её лица на пистолет и обратно, и пытается сосчитать, о какой второй смерти она говорит. Потом, кажется, понял, потому что лицо у него вдруг стало растерянным, почти обиженным, как у человека, которому отказали в цене, которую он считал справедливой.

— Уходи, — сказала Кира. — Хорька своего забирай. И Лиса забирай, он на уступе лежит. Живой.

— Живой? — Сотник посмотрел на меня.

— Живой, — сказал я.

Сотник постоял на месте ещё немного. Потом нагнулся, кряхтя, взял Хорька под мышки и поднял, и Хорёк застонал и открыл глаза, и повис у него на руках. Сотник повёл его к тёмному ходу внизу выработки, медленно, тяжело, оскальзываясь на наклонном полу, и уже у самого входа остановился и обернулся.

— Наверх не ходи, девочка, — сказал он. — К Складам не ходи. Там тебя не я буду ждать. Там тебя будет ждать бумага с печатью, а с бумагой не договоришься.

Он ушёл в темноту, и долго ещё было слышно, как он идёт по воде, и как стонет Хорёк, и как плещет вода в канаве. Потом стихло в темноте и это. Человек в кожаной куртке, которого Сотник назвал Лисом, очнулся через полчаса, сел на уступе, посмотрел на меня с таким ужасом, с каким, наверное, смотрели в сказке на Пожирателя, и, не сказав ни слова, уполз в боковой ход, на четвереньках, не поднимаясь.

Гвоздю досталось ножом в бедро, глубоко, но, как сказала Лиза, удачно, мимо большой жилы. Она перевязала его полосами от своей нижней рубашки, туго, крест-накрест, и велела не вставать до утра, и Гвоздь не спорил, что было на него не похоже. Он лежал у стены на моей куртке, бледный, мокрый от пота, и смотрел в свод, и время от времени говорил что-нибудь вроде «бедро ерунда, бедро заживёт».

— Шестеро, — сказал он, когда Лиза отошла. — Шестеро их было, ракитинский, а нас четверо, и ни одного не положили. Ни одного. Тихий бы сказал, что так не бывает.

— Ты фонарь разбил, — сказал я. — Я видел.

— Фонарь, — согласился Гвоздь. — Фонарь не жалко, фонарь не человек. Ты-то что сделал с этим, с Лисом? Он орал, как будто его режут. Я внизу слышал.

— Держал, — сказал я.

— Держал. — Гвоздь закрыл глаза. — Как Киру держишь, что ли?

— Так же, — сказал я. — Только ему это не нужно было.

Гвоздь долго молчал, не открывая глаз. Потом сказал, медленно, тихо, так, будто говорил сам с собой, что, наверное, человеку надо, чтобы у него в голове кто-то шумел, хоть Система, хоть кто, а то он с ума сойдёт от тишины. Потом уснул, сразу, как засыпают очень уставшие люди, и захрапел.

Кира сидела в стороне, на краю уступа, одна, спиной к нам, и смотрела вниз, туда, где ушёл Сотник. Лампа стояла рядом с ней на камне и бросала на её лицо дрожащий жёлтый свет, и я видел, что она не плачет. Я подошёл и сел рядом, не касаясь её, и мы долго сидели молча.

— Кто он? — спросила она наконец. — Вольский. Ты его знаешь?

— Знаю, — сказал я. — Казначей. Он в Совете сидит, рядом с отцом. Приходил к нам ужинать. Три раза в год, на праздники.

— Какой он?

Я подумал, прежде чем ответить. Я вспомнил Вольского за нашим столом, его седые виски, его тихий, вежливый голос, его тонкие пальцы, которыми он держал бокал за ножку, и его число, восемнадцать миллионов семьсот тысяч, которое я видел на приёме. Ещё я вспомнил, как он однажды, когда мне было лет девять, подарил мне на день рождения книгу про птиц, настоящую, бумажную, и сказал, что птицы раньше летали сами, без Купола над головой.

— Тихий, — сказал я. — Вежливый. Подарил мне книгу про птиц.

— Про птиц, — повторила Кира без выражения. — А дети у него есть?

— Дочь, — сказал я после паузы. — Ника. Мы с ней… Нас все считали парой.

Кира повернула голову и посмотрела на меня. Она смотрела долго, внимательно, и в её глазах не было ни злости, ни насмешки, а было что-то другое, чего я не мог прочитать. Потом она снова отвернулась к темноте внизу.

— Твоя подружка, — сказала она. — Дочка того, чья печать на моей кухне.

— Она не знает, — сказал я. — Я уверен, что она не знает. Она ничего такого не знает, Кира.

— Ты тоже не знал, — сказала Кира. — Двадцать пять дней назад. Ты тоже ничего такого не знал.

Мне нечего было ей ответить. Я сидел рядом с ней на холодном камне и думал о Нике, о её тонкой шее под золотым колье, где пряталась некросетка, о её словах «это просто цена», и о том, что она тоже, наверное, сидит сейчас в своей комнате в Шпиле Вольских и не знает, где я. Мне стало стыдно перед Кирой за то, что я думаю о Нике, и стыдно перед Никой за то, что сижу здесь, рядом с Кирой, и я не знал, какой стыд сильнее.

Кира достала из пистолета обойму. Она сделала это медленно, привычно, нажала на защёлку, и обойма скользнула ей в ладонь, тяжёлая, тёмная, и Кира поднесла её к лампе. В обойме был один патрон, жёлтый, тусклый, с тупым свинцовым носом, и она смотрела на него долго, не мигая.

— Три года, — сказала она. — Три года я его берегла. Последний. Для него. Я знала, что найду его, и знала, что этот патрон будет его. Я им ни разу не стреляла, даже на станции, когда Ищейки шли. Берегла.

— Почему не выстрелила? — спросил я тихо.

— Ты знаешь почему. — Кира не смотрела на меня. — Ты стоял сзади и считал. Я чувствовала, как ты считаешь. Ты думал про того, второго. Про того, кто дойдёт вместо него где-нибудь там.

Я долго молчал в ответ. Я не знал, как она это почувствовала, и не хотел спрашивать, потому что боялся, что спрошу, и она спросит меня в ответ, откуда я знаю про второго так точно, как будто вижу его. Кира держала обойму на ладони и смотрела на патрон, и над ней мерцал серый ноль, и в сигнале тонко дрожала струна.

— Тихий говорил, что каждая смерть здесь это две, — сказала она. — Я раньше думала, что он говорит про нас. Что мы теряем двоих, когда теряем одного. А сегодня поняла, что он говорил про то, что кто-то там, в соседнем секторе, сидит на ящике, и ему осталось три часа, и он не знает, что я сейчас решаю, сколько ему осталось. — Она помолчала. — Десятник этого не стоит. Он не стоит того, чтобы какой-нибудь старик дошёл раньше, чем мог.

— Ты могла бы, — сказал я. — Ты имела право.

— Право, — повторила Кира. — Право у всех есть. У Десятника тоже было право, у него бумага была с печатью. — Она вставила обойму обратно, щёлкнула защёлкой и положила пистолет себе на колени. — Мне не право нужно, Саша. Мне нужно, чтобы этого всего не было. Кухни, стульев, бумаги. Сервера.

Она сказала «сервера» так же, как сказала тогда, у огня в Кривой штольне, ровно, твёрдо, только теперь в её голосе было что-то новое, что я не сразу узнал. Это была не злость и не

месть, а усталость, глубокая, старая, такая, какая бывает у людей, которые долго несли тяжёлое и наконец поставили его на землю, и не знают, хватит ли сил поднять снова. Я впервые слышал её такой.

— Вольский, — сказала она. — Склады. Яблоки. Серые халаты. Транзитный Узел. Фермы. — Она перечисляла медленно, загибая пальцы на свободной руке. — Это всё одно и то же, Саша. Это не Десятник. Десятник это просто руки. Мне надо не руки, мне надо голову.

Я молча кивнул ей в ответ. Я сидел рядом с ней и думал, что она права, и что голова, о которой она говорит, сидит в Совете, за длинным столом светлого дерева, рядом с моим отцом, и что мой отец, может быть, тоже знал. Я не хотел об этом думать и всё равно думал, и мысль эта была тяжёлой, холодной, как камень в канаве.

* * *

Утром двадцать седьмого дня Гвоздь встал сам. Он поднялся у стены, опираясь на ружьё, бледный, с закушенной губой, и постоял, привыкая, и сделал шаг, и не упал. Лиза смотрела на него и качала головой, но ничего не говорила, потому что все мы знали, что оставаться здесь нельзя, что Сотник вернётся, может быть, не сам, может быть, с другими людьми, но вернётся.

У Марка оставалось триста двадцать один день. Я посчитал это, проснувшись, и посчитал Мышку, шестьдесят три дня, и ещё раз посчитал число, которое лежало у меня в нагрудном кармане, и вышло месяц, может два, минус девять дней. Кира колола изотоп в предрассветной темноте, и я держал шприц левой рукой, и подставлял правую, в повязке, под давление сигнала, и крови не было, и струна дрожала.

Мы пошли вниз, по наклонному полу Косой выработки, к тёмному ходу, куда ушёл Сотник, потому что другого пути на юг не было. Гвоздь шёл медленно, хромая, опираясь на моё плечо, и я чувствовал, как его тяжёлое тело наваливается на меня при каждом шаге. Лиза несла его ружьё, а Кира шла впереди, с лампой, и пистолет висел у неё на поясе, в старой кобуре, и в нём по-прежнему был один патрон.

Я смотрел ей в спину и думал о том, что она сделала вчера, и о том, чего не сделала. Она три года носила этот патрон, и вчера держала его на ладони, и не потратила, и теперь он был не для Десятника, а для чего-то другого, чего она сама ещё не знала. Мне казалось, что этот патрон стал теперь тяжелее, чем был, и что она чувствует эту тяжесть при каждом шаге.

У выхода из выработки, там, где наклонный пол выравнивался и переходил в старый тоннель, Кира остановилась. Она подняла лампу и посвятила на стену, на чёрный камень, и я увидел, что на камне углём нарисован знак, кривой, торопливый: круг с крестом внутри. Уголь был свежий, он ещё пачкал пальцы.

— Пастырский, — сказал Гвоздь, тяжело дыша. — Метка. Значит, здесь были и ушли. Сотник своим оставил, чтобы знали, куда он пошёл.

— Куда? — спросила Лиза.

Гвоздь посмотрел на знак долго, щурясь от света лампы. Потом он медленно покачал головой. Ему было больно стоять, и он опирался на моё плечо всем весом.

— Наверх, — сказал он. — Крест вверху. Наверх пошёл. К своим, на Землю, или к Складам. — Он помолчал. — Миллион ему теперь не нужен. Ему теперь нужно, чтобы его не нашли люди, которым он про печать рассказал.

Кира постояла перед знаком ещё немного. Потом достала из кармана кусок мела, белого, крошащегося, и нарисовала рядом с пастырским кругом свой, ровный, аккуратный, и перечеркнула его наискосок, жирно, нажимая на мел так, что он крошился. Два знака светились теперь рядом на чёрном камне, пастырский и её.

— Жива, — сказала она. — Пусть знает.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло, ровно через шесть минут. Я сосчитал, как всегда, и вспомнил, что вчера, за весь бой в темноте, оно не щёлкнуло ни разу не вовремя,

ни одного внеочередного щелчка. Шестеро против четверых, нож, выстрел, крик, и никто не дошёл, ни здесь, ни там, в соседнем секторе, на перевёрнутом ящике.

Я подумал, что это, может быть, первый раз с того дня, как я спустился в Подземелья, когда за меня никто не заплатил. Мысль была странная, лёгкая, почти радостная, и я испугался её и отогнал. Потом пошёл за Кирой в старый тоннель, на юг, к Южной насосной, подставив плечо Гвоздю, и белый перечёркнутый круг остался светиться на чёрном камне за нашей спиной.

Глава 6

До Южной насосной мы не дошли. Гвоздь продержался на ногах полдня, до развилки за Косой выработкой, а потом сел на рельс посреди тоннеля, белый, мокрый, с синими губами, и сказал, что дальше не пойдёт, потому что не может. Лиза размотала повязку на его бедре, посмотрела, долго молчала и сказала, что если он сделает ещё тысячу шагов, она за его ногу не отвечает.

Мы повернули назад, к Чёрному перекрёстку, потому что ближе укрытия не было. Гвоздь знал там старую нарядную при шахте, которую рядом с перекрёстком закрыли раньше всех, ещё при его отце, и до неё было часа три, если идти медленно. Мы шли медленно, очень медленно, и Гвоздь висел у меня на плече всем своим весом, и я считал шаги, чтобы не считать его тяжёлое, хриплое дыхание.

Нарядная оказалась низкой каменной комнатой с нарами вдоль стены и с ржавой печкой в углу, у которой не было трубы. Пахло в ней мышами, сыростью и старым углём, и на стене над нарами висела доска с крючками для жетонов, пустая, без единого жетона. Камер здесь не было, и Гвоздь сказал, что не было никогда, потому что сюда даже при отце никто не заглядывал, кроме тех, кто здесь работал.

* * *

Мы прожили в этой нарядной пять дней. Гвоздь лежал на нарах, на моей куртке и на куртке Киры, и первые два дня у него был жар, и он бредил, звал отца и какого-то Михася, и просил не трогать каску. Лиза сидела при нём почти не отходя, меняла повязку, поила его водой из фляги, и я ни разу не видел, чтобы она спала, хотя, наверное, она всё-таки спала, когда спал я. Пакеты из депо мы резали на четвертушки, и Гвоздю отдавали половину своих, а к пятому дню их осталось два, на четверых, и Лиза уже прикидывала, кто пойдёт к забегаловке у Южной насосной.

На третий день жар спал. Гвоздь проснулся утром, посмотрел на Лизу, сидевшую у нар с флягой в руках, и сказал ей хриплым, слабым голосом, что она похожа на его мать, только мать была толще и ругалась хуже. Лиза засмеялась, впервые за всё время, что я её знал, коротко, растерянно, и отвернулась, и я видел, как у неё дрожат плечи.

Шунт Киры сбоил дважды за эти пять дней. Первый раз ночью, на второй день, через час после укола, как тогда в Кривой штольне: ноль над её головой замигал неровно, вспышка, пауза, две вспышки, долгая темнота, и Кира села на нарах, зажимая уши, и я уже был рядом. Второй раз днём, на четвёртый день, без укола, без предупреждения, посреди разговора, и это было страшнее, потому что раньше шунт никогда не сбоил днём.

Оба раза я держал её сигнал. Я клал ей на затылок, на порт, голую правую ладонь, ещё розовую, тонкую, блестящую после ожога, и подставлял её под сигнал, как подставляют ладонь под струю холодной воды. Первый раз я держал семь секунд, второй раз одиннадцать, и оба раза из носа у меня шла кровь, а во второй раз ещё и из правого уха, тонкой тёплой струйкой, и Лиза потом долго вытирала мне шею мокрой тряпкой и ничего не говорила.

После второго раза Кира долго сидела молча, обхватив колени руками. Над ней мерцал серый ноль, ровно, спокойно, как будто ничего не было, и в сигнале, давящем на её шунт, тонко дрожала струна, и дрожала она теперь почти всё время, не переставая. Я сидел рядом с ней и слушал эту струну, и чувствовал в нагрудном кармане записку Щупа, и считал: месяц, может два, минус двенадцать дней.

— Днём раньше не было, — сказала Кира наконец. — Никогда. Три года. Только ночью, только после укола.

— Я знаю, — сказал я.

— Ты не знаешь. — Она посмотрела на меня. — Ты со мной двадцать дней. Откуда тебе знать, что было три года?

Я ничего не ответил ей на это. Она права была, я не знал, что было три года, и знал зато то, чего не знала она, и это было хуже. Кира смотрела на меня ещё немного, внимательно, прищурившись, и я выдержал её взгляд, и она отвернулась первой.

* * *

Каждую ночь я ходил к трубе. Это было моё решение, и я принял его в первый же вечер, когда мы пришли в нарядную, и никто со мной не спорил, кроме Киры. Чёрный перекрёсток был в часе ходьбы, и труба под ржавым бункером была на месте, и белый перечёркнутый круг на ноге бункера тоже был на месте, и над ним горела красная точка камеры.

— Зачем? — спросила Кира в первый вечер. — У меня двенадцать коробок. Мне год не нужна эта труба.

— Тебе нужна не коробка, — сказал я. — Тебе нужен тот, кто её кладёт. Тот, сверху. Он знает, откуда изотоп, значит, знает, откуда шунт. Может, он знает, кто ещё умеет с ним работать.

Кира посмотрела на меня долго, и я видел, что она ищет в моих словах то, о чём я молчу. Я и сам слышал, как они звучат, слишком ровно, слишком правильно, будто я придумал их заранее. Я и правда придумал их заранее, лёжа на нарах в первую ночь, с запиской Щупа в кармане, и думал, что если тот, сверху, знает про изотоп, то, может быть, он знает и про контакты, которые зеленеют изнутри.

— Щуп с ним работал, — сказала Кира наконец. — Щупа нет.

— Вот поэтому, — сказал я.

Она всё-таки отпустила меня одного. Это было на неё не похоже, и я понял почему только на третью ночь: она не могла идти сама, потому что боялась, что шунт собьётся по дороге, в темноте, на полпути, и меня не будет рядом. Она ничего мне об этом не сказала, но каждый раз, когда я уходил, она садилась на нарах и смотрела мне вслед, пока я не скрывался за поворотом.

Первые три ночи труба была пуста. Я приходил к перекрёстку, садился в тени у стены, под самым сводом, где не доставал свет красной точки, и ждал, и считал щелчки. Под утро я подходил к бункеру, засовывал руку в трубу по самое плечо, нащупывал там только холодный ржавый металл и паутину, и шёл обратно, в нарядную, и Кира поднимала голову с нар и ничего не спрашивала.

На четвёртую ночь, в ночь на тридцать первый день, в трубе что-то было. Я понял это ещё до того, как сунул руку, потому что в темноте у самого края трубы белело что-то маленькое, плоское, как сложенный клочок бумаги. Это и был клочок, только не бумаги, а тонкого гладкого пластика, похожего на те наклейки, которые в лабораториях клеят на склянки с лекарствами, и на нём мелкими, ровными, аккуратными буквами было написано несколько слов: «Левый тоннель, сто двадцать шагов, без света».

Я стоял у бункера с этой наклейкой в руке и долго не мог пошевелиться. Над головой горела красная точка камеры, и я вдруг подумал, что тот, кто это написал, знает про камеру, и знает, что на сто двадцать шагов в левом тоннеле она не видит. Мне стало холодно, и я сунул наклейку в нагрудный карман, к двум запискам, и пошёл в левый тоннель.

Я считал шаги в темноте. Левый тоннель был узкий, низкий, с рельсами на полу, и я шёл, касаясь стены левой рукой, и считал вслух, шёпотом, потому что так было не так страшно. На сотом шаге я перестал шептать и стал считать про себя, и на сто двадцатом остановился, и стоял, и слушал темноту.

Сначала я ничего не слышал, кроме своего дыхания и капели где-то впереди. Потом я почувствовал запах, раньше, чем услышал шаги, и запах этот был такой знакомый, что у меня перехватило горло. Пахло аптекой и металлом, чем-то холодным, горьковатым, медицинским, и ещё чем-то тонким, цветочным, почти незаметным, что пахло не здесь, не внизу, а наверху.

Этот запах я хорошо знал. Аптекой и металлом пахла куртка Киры, в которой я проснулся тогда в турбинном зале, и пальцы Киры, когда она втирала мне в лицо угольную пыль, и коробочка с ампулами, которую она носила за пазухой. Только теперь я понял, что слышал этот запах раньше, задолго до Подземелий, в круглом зале с куполом, в день моего Обновления, когда кто-то наклонился ко мне над капсулой, и чьи-то руки коснулись моего кармана.

— Не зажигайте свет, — сказал женский голос совсем рядом, из темноты. — Пожалуйста. Я сейчас сама.

Голос был тихий, ровный, усталый, и я узнал его тоже. Я слышал его дважды: на приёме, когда она говорила про реактивы, и над капсулой, шёпотом, у самого уха, и слова, которые она тогда сказала, я помнил, как помнил щелчки: смотрите вверх, что бы ни было. Тогда я не понял этих слов, и понял их только потом, лёжа в капсуле.

Щёлкнуло что-то маленькое, и в темноте загорелся слабый голубоватый свет, такой, какой дают медицинские фонарики величиной с палец. Свет упал на рельсы, на стену, на мои ботинки, и поднялся выше, и я увидел её. Она стояла в трёх шагах от меня, в тёмном плаще с капюшоном, откинутым на спину, с кожаной сумкой через плечо, и держала фонарик в руке, опустив его вниз, к полу, чтобы не светить мне в лицо.

Передо мной стояла Ада Ган. Ей было двадцать семь лет, и выглядела она старше, гораздо старше, чем тогда, в зале Обновления. Лицо у неё было бледное, худое, с глубокими тенями под глазами, светлые волосы стянуты в тугой узел на затылке, и на подушечках пальцев, державших фонарик, темнели бурые пятна, которые она тогда, на приёме, назвала реактивами.

Над ней висело белое число, три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи с чем-то. Я помнил его с приёма, тогда оно было почти четыре миллиона, и с тех пор уменьшалось ровно, понемногу, как уменьшалось у моей матери, по одному месту каждые шесть минут, как у всех, у кого нет доноров. Я смотрел на это число и вспоминал, что ещё тогда, на приёме, заметил его и удивился, потому что дочь Гана, единственная из детей Совета, жила без Обновлений.

— Александр, — сказала она. — Вы меня узнали.

— Узнал, — сказал я. Голос у меня сорвался, и я откашлялся. — Это вы. Изотоп. Три года.

Ада ответила мне не сразу. Она смотрела на меня, на мою бритую голову, на грязное лицо, на рубашку Хромого, на правую руку в повязке, и я видел, как она что-то прикидывает, как прикидывает врач, глядя на пациента. Потом она чуть кивнула, будто подтвердила что-то самой себе.

— Три года, — сказала она. — Да. Это я.

Она рассказала всё быстро, коротко, без лишних слов, как рассказывают врачи на обходе. Изотоп шёл из лаборатории её отца, где его делали для другого, для поддержки доноров во время долгих процедур, и бурые ампулы со склада Транзитного Узла были из той же партии. Три года назад к ней пришёл человек снизу, старый, умирающий, тот, у которого было одно устройство и немного изотопа, и попросил продолжать после его смерти, и назвал место, трубу у Чёрного перекрёстка.

— Он сказал, что девушка, которой он поставил шунт, умрёт без изотопа через месяц, — сказала Ада. — Он умер через полгода. Я продолжала.

— Как её зовут, вы знаете? — спросил я.

— Нет, — сказала Ада. — Не знаю и не хочу знать. Девушка с шунтом, это всё, что мне нужно. Если меня когда-нибудь спросят, я скажу правду: не знаю. Я хорошо умею говорить правду, Александр. Меня этому учили с детства.

Я знал, о чём она. Меня тоже учили, и я тоже умел, и мой отец умел лучше всех, он никогда не лгал, ни разу, ни одним словом, и я научился у него говорить правду так, чтобы она ничего не значила. Ада смотрела на меня, и я видел, что она поняла, что я понял, и уголок её рта чуть дрогнул.

— Коробку оставлял ваш человек, — сказал я. — Кира говорила, тот, сверху, оставлял ночью, а наш забирал утром. Они никогда не виделись.

— Санитар из нашего блока. Он спускался по служебному стволу, там, где идут трубы от Медицинского уровня. — Ада помолчала. — Когда взорвали станцию, он пришёл ко мне и сказал, что больше не пойдёт. Внизу теперь камеры, все ожили, по всем выработкам, и Ищейки смотрят каждую ночь. Он испугался. Я его не виню.

— А мел? — спросил я. — Знак на бункере. Его кто увидел?

— Он и увидел. — Ада чуть улыбнулась. — Пошёл в последний раз, чтобы забрать коробку, если её никто не взял. Коробки в трубе не было, ваш человек забрал её ещё до взрыва. А на бункере был нарисован перечёркнутый круг. Он пришёл и сказал: там нарисовали ноль, перечёркнутый. Я поняла, что она жива. И что её кто-то ведёт.

— Вы пришли сами, — сказал я.

— Пришла сама. — Ада пожала плечами. — Больше некому было.

Я смотрел на неё и не мог понять, почему она это делает. Дочь Эдуарда Гана, главного врача Протокола, человека, который своими руками ставил мне в шею иглы и считал мой пульс, сто двенадцать, значит, живой. Она стояла передо мной в старом тоннеле, в темноте, в Подземельях, без охраны, одна, с медицинской сумкой через плечо, и рисковала всем, что у неё было, ради девушки, имени которой не хотела знать.

— Зачем? — спросил я. — Зачем вам это?

Ада долго молчала, глядя в сторону. Фонарик в её руке чуть дрожал, и голубоватый свет дрожал на рельсах, и я видел, как она сжимает губы. Мне показалось, что она отвечает на этот вопрос не в первый раз, только раньше отвечала самой себе.

— Мой отец делает то, что делает, — сказала она наконец. — Я ему помогаю. Я ассистирую на Обновлениях, я готовлю растворы, я считаю дозы, я знаю, куда идут трубки и откуда приходит то, что по ним течёт. — Она помолчала. — Вы видели это, Александр. В зале. Вы видели, кто лежал в соседней капсуле.

— Видел, — сказал я.

— Тогда вы понимаете, зачем. — Она опустила глаза на свои руки, на бурые пятна на подушечках пальцев. — Девушка с шунтом, это единственное, что я делаю не для этого. Одна девушка. Одна жизнь, за которую мне не стыдно.

Я не знал, что ей сказать. Мы стояли в темноте, в слабом голубом свете медицинского фонарика, и я думал о Марке в соседней капсуле, о его сером лице, о трубках, о тепле, которое разливалось по моему телу, когда в меня вливали годы моего друга. Ада стояла рядом, с теми же руками, которые тогда держали иглы, и я вдруг понял, что не могу её ненавидеть, как не мог ненавидеть Щупа.

— Записка, — сказал я. — Записка Марка. В тот день, в зале, вы её нащупали. У меня в кармане.

— Нащупала, — сказала Ада.

— Потом она оказалась в наволочке. У шва. Сложенная вдвое, а я складывал вчетверо. Я думал, это мать. Или вы.

Ада молча кивнула мне в ответ. Она не удивилась, что я помню, как складывал записку, и мне показалось, что она этого и ждала. Наверное, она давно знала, что я когда-нибудь спрошу.

— Вашу одежду после ритуала унесли в наш блок, — сказала она. — Так всегда делают, одежду с Обновления не стирают дома, её стерилизуют. Я разбирала её сама. Записка была в кармане, я вынула её, прочитала, простите, и положила вам в наволочку, когда приходила в вашу комнату с отцом, утром, проверить, как вы. Сложила вдвое. — Она чуть улыбнулась. — По привычке. Мы так складываем рецепты, вдвое, чтобы печать была снаружи. Я не подумала, что вы заметите.

— Я заметил, — сказал я.

— Вижу. — Ада посмотрела на меня внимательно. — Вы многое замечаете, Александр. Отец говорит, что вы замечаете больше, чем нужно. Он говорит это с гордостью, а я с тревогой.

Мне стало не по себе от этих слов, и я не стал спрашивать, что она имеет в виду. Я не знал, что знает обо мне её отец, кроме моего пульса, моего чипа и моего числа на экране его аппаратов, и не хотел узнавать сейчас, здесь, в темноте. Ада, кажется, поняла это и не стала продолжать.

— Мать, — сказал я. — Вы знаете, что с ней?

Ада помолчала, прежде чем ответить. Я видел, как она решает, сколько можно мне сказать, и как решает сказать всё. Губы у неё сжались в тонкую линию.

— Она заперта в своих комнатах, — сказала Ада. — С той ночи, как вы ушли. Ваш отец никого к ней не пускает, кроме Тони и моего отца. Отец её лечит. Он даёт ей капли, успокоительные, от нервов. — Она помолчала. — Я однажды видела, как она выливает их в цветочный горшок, когда отец отвернулся. Она поймала мой взгляд и не испугалась. Я никому не сказала.

— Она здорова? — спросил я.

— Она здорова, — сказала Ада. — Насколько может быть здоров человек, которого держат взаперти. Худая, бледная, не спит. Но в своём уме, совершенно.

— Почему её заперли? Отец знает, что она мне помогла?

Ада посмотрела на меня долго, и я понял, что сейчас услышу то, чего не хочу слышать. Она опустила фонарик ещё ниже, к самым рельсам. Лица её в темноте почти не было видно.

— Лев вернулся снизу, — сказала она. — Из транзитного Узла, раненый, с пулей в плече. Отец его оперировал, я ассистировала. Потом Лев пошёл к вашему отцу и рассказал ему всё, что вы ему сказали там, в зале. Слово в слово. Про то, что вы живы. Про мать. — Она помолчала. — Про часы. Что вы помните про часы и что она поймёт.

Я перестал дышать от этих слов. Я стоял в темноте и вспоминал Льва на полу у капсулы, с белым лицом, с пулей Гвоздя в плече, и свои слова, которые сказал ему тогда, не думая: скажи отцу, что я жив, и матери скажи, что я помню, про часы, она поймёт. Мне казалось тогда, что я говорю это для матери, только для неё, и что никто, кроме неё, не поймёт, о чём речь.

— После этого ваш отец два часа говорил с вашей матерью, — сказала Ада тихо. — Наедине. В её комнатах. Я была в соседней, с отцом, мы ждали, нас не позвали. Я не слышала ни одного слова. Ваш отец никогда не повышает голоса. — Она помолчала. — Через два часа он вышел и сказал моему отцу, что Елене нужен покой. Полный.

Я долго молчал в ответ. Мне казалось, что тоннель качается вокруг меня, как качается пол в лифте, когда он трогается слишком резко, и я прислонился спиной к холодной стене. Песочные часы, шесть минут, пепельно-серый песок, подарок отца накануне Обновления, и мать, которая в последнюю ночь сидела на краю моей кровати, а потом перевернула их на подоконнике, и я сам сказал Льву эти слова, своими губами.

— Я её выдал, — сказал я. — Это я.

— Вы этого не знали, — сказала Ада.

— Какая разница. — Я закрыл глаза. — Какая разница, знал я или нет.

Ада ничего мне не ответила. Она стояла рядом, в своём тёмном плаще, с фонариком, опущенным к полу, и молчала. Я был ей благодарен за это молчание, потому что любые слова сейчас были бы хуже.

Потом она открыла свою сумку. Она сделала это быстро, привычно, присев на корточки у рельса и поставив фонарик на шпалу так, чтобы свет падал на сумку. Внутри, в отделениях, аккуратно уложенные, лежали плоские металлические коробочки, похожие на портсигары, свёрток в белой ткани, маленькая склянка с прозрачной жидкостью и что-то ещё, завёрнутое в пластик.

— Здесь шесть коробок, — сказала она. — Свежие, из последней партии, концентрация правильная. Ампулы со склада Узла слабее, их делают для доноров, ваша девушка на них продержится, но колоть придётся чаще. Мои колите в первую очередь.

Она вынула свёрток в белой ткани и развернула его. Внутри лежал инъектор, толстый, как ручка, из серебристого металла, с маленькой кнопкой на торце, точно такой, какой был у Киры раньше, до того как сгорела диспетчерская. Металл был холодный и гладкий, без единой царапины.

— Это вместо шприца, — сказала Ада. — Вы ведь колете шприцем? Длинным, из Узла?

— Шприцем, — сказал я. — Я колю.

Ада посмотрела на меня быстро, удивлённо, и снова опустила глаза к сумке. Мне показалось, что она хотела что-то спросить и передумала. Пальцы её на застёжке сумки замерли на секунду.

— Инъектор вводит медленно, сам, с нужной скоростью. Шприцем вы рвёте сигнал, это плохо для шунта. Приложите к порту, нажмите и держите, пока не щёлкнет. — Она вынула склянку и маленький пакетик из пластика. — Это для порта. Жидкость чистит окисел, раз в неделю, на ватке, осторожно. В пакетике контакты, четыре штуки. Если старые позеленели, их можно заменить, это нетрудно, но нужны тонкие руки и хороший свет.

Я взял пакетик и посмотрел на свет. Внутри лежали четыре крошечные золотистые пластинки, тоньше ногтя, с загнутыми краями, и я вспомнил записку Щупа, его мелкий почерк с наклоном влево: порт окисляется изнутри, контакты зелёные. У меня задрожали руки, и я сжал пакетик в ладони, чтобы Ада не заметила.

— Это её спасёт? — спросил я.

Ада подняла голову и посмотрела на меня. Она смотрела долго, прямо, и в её глазах не было ни жалости, ни утешения, только усталость, такая, какая бывает у врачей, которые слишком часто говорят людям правду. Я понял ответ раньше, чем она заговорила.

— Нет, — сказала она. — Это продлит. Не спасёт. Шунту двадцать лет, Александр. Его делали в лаборатории моего отца, когда я была ребёнком, их было пять или шесть, опытных. Потом от них отказались, схемы уничтожили, приборы разобрали. Этот, видимо, вынес тот старик, который его поставил. Других нет. Никто не умеет такие делать, даже отец, он давно забыл, как.

— Сколько? — спросил я.

— По тому, что вы рассказываете о сбоях, — сказала Ада, — месяц. Может быть, два. Если повезёт и если вы будете делать всё правильно.

Я на секунду закрыл глаза. Месяц, может два, сказал Щуп, и вот теперь Ада говорила то же самое, теми же словами, как будто они сговорились. Я стоял в тёмном тоннеле, с пакетиком золотых контактов в кулаке, и думал, что считал неправильно, что надо было считать не от записки Щупа, а от сегодняшнего дня, и что от сегодняшнего дня это опять месяц, может два, и что так, наверное, будет каждый раз, пока не перестанет быть.

Потом она достала со дна сумки ещё один свёрток, плотный, тяжёлый, в сером больничном пластике. Внутри лежали плоские пакеты питательной смеси, такие, какими в блоке её отца кормят лежачих больных, и их было два десятка. Ада сказала, что подумала об этом ещё наверху: станции больше нет, значит, и кухни у нас нет, а на смеси можно жить неделю, если её делить.

Ада застегнула сумку и протянула её мне. Сумка была тяжёлая, мягкая, из хорошей кожи, и я подумал, что такие сумки не носят внизу, что Кира сразу её узнает, и Ада, кажется, подумала о том же. Она смотрела на сумку у меня в руках и хмурилась.

— Переложите всё в свой мешок, — сказала она. — Сумку оставьте здесь, в тоннеле, я её потом заберу. Или выбросьте.

— Кира спросит, откуда, — сказал я.

— Кира, — повторила Ада, и я понял, что проговорился. Она помолчала, и лицо у неё на секунду стало совсем беззащитным, как будто она услышала то, чего так долго не хотела слышать. Потом она тряхнула головой. — Я ничего не слышала, Александр. Девушка с шунтом. Пусть так и останется.

— Простите, — сказал я.

— Не говорите ей, откуда это. — Ада смотрела мне прямо в глаза. — Пожалуйста. Не говорите, кто я. Я не знаю, кто она, но догадываюсь, что у неё забрали всё, раз она живёт на нуле. Если она узнает, что изотоп три года шёл из лаборатории моего отца, она выльет ампулы. Все. В ту же ночь. Вы же её знаете лучше, чем я.

Я подумал о Кире, о её лице. О её белом лице над пистолетом в Косой выработке, о её голосе, когда она сказала Сотнику «Десятник», о её словах про голову, которую надо найти. Я подумал о том, что она сделала бы, если бы узнала, что жила три года на подачках из той самой лаборатории, где делают Обновления, и понял, что Ада права.

— Не скажу, — сказал я. — Обещаю.

— Спасибо. — Ада выдохнула, и плечи у неё чуть опустились. — Я постараюсь приносить. Не каждый месяц, мне теперь тяжело спускаться, но постараюсь. Знак тот же. Если в трубе будет наклейка, левый тоннель, сто двадцать шагов. Если нет, не ждите.

Она встала, поправила плащ и посмотрела вверх, на низкий свод тоннеля, будто прикидывала, сколько над ним камня. Ей предстоял долгий путь наверх, и, наверное, она думала о нём. Я вдруг понял, что сейчас она уйдёт, и что я не спросил её о главном, о том, ради чего мы шли на юг, к Южной насосной, к Корням.

— Сервер, — сказал я. — Вы знаете, где он? Говорят, он под Главным Шпилем. Кира думает, что если его взорвать, Очереди не будет.

Ада посмотрела на меня молча. Она смотрела долго, и я видел, что она не хочет отвечать, и видел, как она решает ответить всё равно, честно, как отвечала на всё остальное. Фонарик в её руке перестал дрожать.

— Я не знаю, где он, — сказала она. — Правда не знаю. Никто из нас не знает, Александр. Ни Лев, ни Ника, ни я. Мы знаем, что он есть, потому что так говорят родители, и знаем, что Шаг меняется, когда меняется. Но где он и кто его держит, нам не говорят. — Она помолчала. — Может быть, ваш отец знает. Может быть, мой. Я никогда не спрашивала.

— Почему?

— Боялась, что ответят, — сказала Ада просто.

Она ушла в темноту левого тоннеля, туда, откуда пришла, и голубой свет её фонарика долго ещё мелькал между рельсами, всё дальше и дальше, пока не погас за поворотом. Я стоял в темноте один, с медицинской сумкой в руках, и слушал, как затихают её шаги. Потом я сел прямо на рельс, нащупал в сумке коробочки, инъектор, склянку и пакетик с контактами, и стал перекладывать всё это в свой мешок, на ощупь, медленно.

Пахло от моих рук аптекой и металлом, и ещё тонким, цветочным, почти незаметным, тем, что пахло наверху. Я понюхал пальцы и подумал, что Кира почувствует этот запах сразу, как только я войду в нарядную, и что мне надо будет что-то ей сказать. Сумку Ады я оставил у стены, под рельсом, как она просила, и пошёл обратно к перекрёстку, считая шаги.

У бункера я ненадолго остановился. Белый перечёркнутый круг светился на ржавой ноге, и над ним горела красная точка камеры, и я подумал, что камера видела, как я вошёл в левый тоннель, и видела, как я вышел, с мешком, который стал тяжелее. Я не знал, кто смотрит через неё сейчас, и подумал, что Гончий, наверное, уже знает, что я был здесь, и что он, наверное, знает, кого я встретил.

Только знать он этого не мог. Наклейка обещала, что в левом тоннеле на сто двадцать шагов камера не видит, и я поверил ей, потому что хотел поверить. Я стоял у бункера и смотрел

на красную точку, и думал о том, что Гончий видит всё, и о том, что изотоп Ады, дочери Гана, три года ходит в Подземелья мимо его камер, и он его ни разу не остановил.

Мне стало холодно от этой мысли. Я подумал, что, может быть, он не видит её, а может быть, видит и не останавливает, потому что ему так надо, и что я не знаю, какой из этих ответов страшнее. Я отогнал эту мысль, как отгонял все мысли, которые не мог додумать, и пошёл в нарядную, к Кире, с шестью коробками изотопа, инъектором и четырьмя золотыми контактами в мешке.

* * *

В нарядную я вернулся под утро. Лиза спала, сидя у нар, привалившись к стене и уронив голову на грудь, и Гвоздь спал, тяжело, с присвистом, и в печке без трубы тлели угли, бросая на стены красный свет. Кира в эту ночь не спала. Она сидела на краю нар, обхватив колени, и смотрела на дверь, и когда я вошёл, подняла голову.

Над ней мерцал серый ноль, ровно, спокойно. В сигнале, давящем на её шунт, тонко дрожала струна, и я слышал её даже от двери, и подумал, что за эту ночь она стала дрожать ещё чуть чаще. Кира смотрела на меня, на мой мешок, на моё лицо, и я видел, как она чуть поводит носом, как зверь, учуявший незнакомое.

— Ну? — спросила она тихо, чтобы не разбудить остальных.

Я подошёл и сел рядом с ней на нары. Я развязал мешок, достал оттуда одну коробочку, плоскую, металлическую, похожую на портсигар, и положил ей на колени. Потом достал инъектор, серебристый, толстый, как ручка, и положил рядом.

Кира смотрела на них долго, не дотрагиваясь. Потом взяла инъектор, повертела его в пальцах, нажала на кнопку, и инъектор тихо щёлкнул. Лицо у неё в красном свете углей было неподвижное, и я не мог понять, о чём она думает.

— Такой же, — сказала она шёпотом. — Такой же был. Сгорел.

— Тут ещё пять коробок, — сказал я. — И это. — Я достал склянку и пакетик с контактами. — Чистить порт. Раз в неделю. И контакты, если позеленеют.

Кира подняла на меня глаза. Она смотрела мне в лицо долго, внимательно, прищурившись, тем самым взглядом, каким смотрела на меня в Косой выработке, когда сказала, что чувствовала, как я считаю. Потом взгляд её медленно опустился на пакетик с золотыми пластинками у меня на ладони.

— Контакты, — повторила она. — Про контакты знает только тот, кто сам с шунтом возился. Кто тебе это сказал?

Я сидел рядом и молчал. В нагрудном кармане у меня лежали три записки: Марка, сложенная вдвое, Щупа, на обрывке схемы, и маленькая наклейка с тремя строчками ровного почерка. Я чувствовал их сквозь ткань, все три, и думал, что только что пообещал женщине в тёмном плаще молчать, и что Кира сидит рядом со мной и ждёт ответа.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло, ровно через шесть минут. Я сосчитал, сам того не желая: у Марка триста семнадцать дней, у Мышки пятьдесят девять, у Киры месяц, может два, начиная с сегодняшнего утра. Кира смотрела на меня и ждала, и я открыл рот, чтобы ответить, и ещё не знал, что скажу.

Глава 7

Ответ я придумал за то время, пока число в верхнем краю моего зрения щёлкало ещё раз. Шесть минут Кира сидела рядом со мной на нарах, с инъектором в руке, и ждала, и не торопила, и я слушал, как потрескивают угли в печке без трубы и как тонко дрожит струна в сигнале над её головой. Потом я сказал то, что сказал бы мой отец, если бы ему пришлось лгать: так мало, чтобы нельзя было поймать, и так спокойно, чтобы не хотелось ловить.

— Новый курьер, — сказал я. — Женщина. Ждала в тоннеле, без света. Лица я не видел.

— Женщина, — повторила Кира.

— Она сказала, что знает про шунт. Что тот старик, который тебе его ставил, был ей знакомый. Она знает, что шунт старый и что порт окисляется. Поэтому контакты.

Каждое слово было правдой, кроме одного, и я слышал это одно слово так ясно, будто сказал его вслух громче остальных. Лица я видел, и видел хорошо, в голубом свете медицинского фонарика, бледное, худое, с тенями под глазами. Кира смотрела на меня, и я видел, как она взвешивает мои слова, одно за другим, как взвешивала когда-то на кухне отцовские пакеты со Склада.

— Что ещё она сказала? — спросила Кира.

— Что будет приносить, когда сможет. Не каждый месяц. Если в трубе будет знак, я пойду туда же.

— Ты, — сказала Кира. — Не я.

— Она так сказала, — ответил я, и это тоже было правдой.

Кира долго молчала, глядя на меня. Потом она опустила глаза на инъектор у себя в руке, на серебристый металл, на маленькую кнопку на торце, и провела по нему большим пальцем, медленно, как гладят старую вещь, которую думали, что потеряли навсегда. Я видел, что она поверила не всему, и видел, что она решила не спрашивать дальше, и не знал, что из этого хуже.

— Ладно, — сказала она. — Пусть так.

Укол она сделала сама, впервые с тех пор, как сгорел её инъектор. Инъектор был короткий, удобный, и она дотянулась им до порта, завела руку за голову, приложила, нажала и держала, закусив губу, пока внутри не щёлкнуло. Я сидел рядом и слушал сигнал, и подставлял под него ладонь, не касаясь её, на расстоянии, на всякий случай, и впервые за все эти ночи сигнал не рванулся, а только чуть дрогнул, как дрожит вода в чашке, когда мимо проходят люди.

— Не рвёт, — сказала Кира удивлённо. Она опустила руку с инъектором и посмотрела на меня. — Совсем не рвёт. Как раньше.

— Она сказала, что шприцем рвёт, — сказал я. — Что инъектор вводит медленно, сам.

— Она, — повторила Кира, и больше ничего не сказала.

Порт я чистил вечером того же дня, когда Лиза уснула у нар Гвоздя. Кира сидела на табурете у печки, спиной ко мне, наклонив голову, и я держал лампу из консервной банки над её затылком и смотрел на круглую металлическую шайбу с узким отверстием посередине, на тёмную кожу вокруг неё и тонкий белый шрам по краю. Я смочил ватку в прозрачной жидкости из склянки, и от неё пахнуло чем-то острым, едким, как пахнет в оранжерее, когда Ефим опрыскивал розы от тли.

Внутри порта, в узком отверстии, когда я поднёс лампу совсем близко, я увидел край контакта. Он был не золотистый, как те, что лежали в пакетике у меня в кармане, а тусклый, бурый, и по самому краю его шла тонкая зеленоватая кайма, как плесень на хлебе. Я смотрел на эту кайму и не двигался, и Кира, наверное, почувствовала, что я замер, потому что спросила, не оборачиваясь, что там.

— Грязь, — сказал я. — Сейчас.

Я протёр порт ваткой, осторожно, едва касаясь, и Кира вздрогнула и зашипела сквозь зубы, и потом сказала, что щиплет, но терпимо. Зеленоватая кайма побледнела под ваткой и стала почти незаметной, но не исчезла совсем, и я понял, что она не исчезнет, потому что она была не снаружи, а внутри, в самом металле. Я убрал склянку, убрал вату и долго сидел с лампой в руке, глядя на затылок Киры, на тёмные короткие волосы над портом, на тонкую шею.

* * *

Гвоздь встал на ноги на второй день, тридцать второго. Он вышел из нарядной, опираясь на палку, которую Лиза выстругала ему из старой крепи, и прошёл до поворота тоннеля и обратно, медленно, с остановками, и вернулся мокрый, бледный и довольный, как человек, поднявшийся на гору. Лиза шла рядом с ним и держала руку у его локтя, не касаясь, готовая подхватить, и ворчала, что он не дойдёт, и он дошёл.

— Завтра до бункера дойду, — сказал он, садясь на нары. — Послезавтра до насосной. Ещё через день Корни.

— Через неделю, — сказала Лиза. — Через неделю ты, может быть, до насосной дойдёшь. Если будешь меня слушать.

— Я всегда тебя слушаю, — сказал Гвоздь.

— Ты никогда меня не слушаешь.

— Слушаю, — сказал Гвоздь и подмигнул мне. — Слушаю, только не делаю. Это разные вещи, сестрёнка.

Лиза фыркнула и отвернулась, и я видел, что она улыбается, отвернувшись, так, чтобы он не видел. За эти дни она стала другой, мягче, тише, и я не знал, что с ней случилось, и не решался спросить. Мне казалось, что она впервые с того дня, как мы вышли из Узла, перестала смотреть на меня как на человека, который убил Костю голыми руками.

Вечером она сама подсела ко мне у печки. Гвоздь спал, Кира ушла к выходу из нарядной, туда, где из старого ствола тянуло холодным воздухом, и мы с Лизой остались вдвоём, и долго молчали. Потом Лиза спросила, не глядя на меня, сколько дней у Марка.

— Триста шестнадцать, — сказал я.

— Ты каждый день считаешь?

— Каждые шесть минут, — сказал я честно.

Лиза кивнула, как будто ждала этого ответа. Она смотрела на угли в печке, и угли отражались у неё в глазах красными точками, и я подумал, что у Марка были такие же глаза, серые, внимательные, только у Марка в них всегда было больше смеха. Лиза улыбалась редко, и я давно не видел, как она смеётся.

— Я тоже считаю, — сказала она. — Только не так часто. Утром и вечером. — Она помолчала. — Утром думаю: ещё один день. Вечером думаю: ещё один день прошёл. А между утром и вечером стараюсь не думать.

— Получается?

— Нет, — сказала Лиза. — Никогда.

* * *

Кира сидела на камне у выхода из нарядной, там, где начинался старый ствол и откуда тянуло холодным, свежим воздухом с верхних горизонтов. Камень был большой, плоский, холодный, как лёд, и она сидела на нём, обхватив колени, и смотрела вверх, в темноту ствола, туда, где ничего не было видно. Я подошёл и сел рядом, и камень обжёг меня холодом даже через штаны.

— Холодно, — сказал я.

— Здесь дышать можно, — сказала Кира. — Там, внутри, дым. Печка без трубы, Гвоздь храпит. Здесь как наверху, наверное. Воздух.

Мы долго сидели рядом молча. Ствол уходил вверх, в темноту, и из него тянуло сквозняком, ровным, сильным, и где-то там, высоко, может быть, на сотни метров выше, был Купол, и

над Куполом была ночь, и я подумал, что Гвоздь говорил правду: ночью в стволах тянет вверх, а днём вниз. Сейчас тянуло вверх, и мне казалось, что ствол дышит, медленно, глубоко, как спящий человек.

— От тебя пахло, — сказала Кира, не поворачивая головы. — Утром. Когда ты пришёл.

Я ничего ей на это не ответил. Сердце у меня ударило так, что я испугался, что она услышит. Мне показалось, что ствол над нами перестал дышать.

— Аптекой, — продолжала Кира. — Это понятно, изотоп так пахнет, я сама так пахну. А ещё духами. Их духами. Сверху. — Она помолчала. — Я этот запах знаю. Отец приносил со Склада, на одежде, когда разгружал ящики для Шпилей. Говорил, что у них даже мыло так пахнет, цветами, которых никто здесь не видел. Мать смеялась, что он теперь пахнет, как Совет.

— Курьер, — сказал я. — Она, наверное, сверху.

— Наверное, — сказала Кира. — Конечно, сверху. Откуда ещё.

Она повернула голову и посмотрела на меня. Было темно, только из нарядной падал слабый красный свет от печки, и лицо её было почти невидимо, только глаза блестели, и над головой мерцал серый ноль. Я сидел и ждал, что она скажет сейчас, что знает, что я лгу, и не знал, что тогда отвечу.

— Ты мне не всё говоришь, — сказала она. Это был не вопрос.

— Не всё, — сказал я.

Кира молчала очень долго после этого. Ствол дышал над нами, холодный воздух тянул вверх, и я слышал, как в нарядной Гвоздь перевернулся на нарах и пробормотал что-то во сне. Где-то далеко капала вода, мерно, как часы.

— Я тебе тоже не всё говорю, — сказала Кира наконец. — Все чего-то не говорят. Это ничего. — Она помолчала. — Только скажи мне одно. Про главное ты мне врёшь?

Я подумал о записке Щупа в нагрудном кармане, о словах «месяц, может два», о зеленоватой кайме на контакте внутри её порта. Ещё я подумал об Аде, о её бледном лице в голубом свете, о её словах «она выльет ампулы», и о моём обещании. Я не знал, что из этого главное, и знал, что от ответа на этот вопрос зависит, буду ли я завтра сидеть рядом с ней на этом камне.

— Нет, — сказал я. — Про главное я тебе не вру. Я не всё говорю, Кира. Но я не вру про главное.

— Что для тебя главное?

— Ты, — сказал я. — Чтобы ты жила.

Кира ничего не ответила мне. Она отвернулась и снова стала смотреть вверх, в тёмный ствол, и я видел только её профиль, тёмный, неподвижный, на фоне ещё более тёмного камня. Потом она медленно, как будто нехотя, придвинулась ко мне, совсем чуть-чуть, так, что её плечо коснулось моего, и осталась так сидеть.

Мы сидели так долго, что я перестал чувствовать холод камня. Кира молчала, и я молчал, и считал щелчки, и насчитал пять, и на шестом она заговорила, тихо, ровно, глядя вверх, в ствол. Она говорила так, как говорят о чужом, о том, что было с кем-то другим, давно, и я понял, что по-другому она об этом говорить не может.

— Первый месяц я не смотрела в зеркало, — сказала она. — После той ночи. После кухни. Тихий меня забрал, положил в комнату на станции, и там на стене висело зеркальце, маленькое, круглое, в железной рамке. Все внизу смотрят в зеркальце каждое утро, ты знаешь. Чтобы знать. Я тоже смотрела, всю жизнь, с семи лет, как мать научила.

Она надолго замолчала, глядя вверх. Над её головой мерцал серый ноль, и я смотрел на него и понимал, о чём она скажет, раньше, чем она сказала. Мне хотелось остановить её и не хотелось.

— Я посмотрела в первый день, — сказала Кира. — Когда шунт уже поставили. Подошла и посмотрела. А там ноль. Серый. Не чёрный, не жёлтый, не белый, просто серый ноль, и не

меняется. У всех меняется, каждые шесть минут, ты смотришь, и видишь, что живой, потому что убывает. А у меня стоит. Как у мёртвых, наверное, только мёртвые в зеркало не смотрят.

— Кира, — сказал я.

— Я месяц не подходила. — Она словно не слышала меня. — Тихий спрашивал, почему я не умываюсь, а я умывалась на ощупь, с закрытыми глазами, в углу, в тазу. Мне казалось, что если я посмотрю ещё раз, то увижу, что я умерла тогда, на кухне, вместе с ними, а это всё, станция, Тихий, шунт, это мне снится. Что я сижу на стуле у окна, и смотрю, и это мне снится.

Голос у неё не дрожал. Только плечо, которым она касалась моего плеча, стало твёрдым, как камень, на котором мы сидели, и я чувствовал это плечо и не знал, что сказать. Я боялся пошевелиться, чтобы она не замолчала.

— Потом Марта сняла зеркальце со стены, — сказала Кира. — Ничего не говорила, просто сняла и унесла. И я перестала бояться. Потом, через полгода, я сама попросила его обратно. Посмотрела. Серый ноль. Сказала себе: это я. Это теперь я. — Она помолчала. — С тех пор смотрю каждое утро. Как все. Только не для того, чтобы знать, сколько осталось, а чтобы знать, что я ещё здесь.

Я не знал, что ей ответить. Я видел её ноль каждую минуту, каждую секунду, с той первой ночи в насосной, и для меня он был не мёртвым, а её, как её глаза, как шрам через бровь, как запах металла и аптеки от её куртки. Мне хотелось сказать ей это, и я не мог, потому что сказать это значило сказать, что я вижу, а этого я не говорил никому, никогда.

— Как тебя зовут? — спросил я вместо этого. — По-настоящему. Внизу все говорят кличками. Тихий, Гвоздь, Щуп. Ноль. Как тебя звали дома?

Кира повернула голову и посмотрела на меня. В темноте я почти не видел её лица, но видел, что она чуть улыбается, одними губами. Улыбка эта была грустной и короткой.

— Кира, — сказала она. — Кира и есть настоящее. Меня так мать назвала. Остальное у меня забрали. Фамилию, дом, кухню. Отца, мать, Даню. — Она помолчала. — Кира осталась. Это не кличка, Саша. Это всё, что у меня есть.

* * *

Шунт сбоил в ту же ночь, через час после того, как мы вернулись с камня в нарядную. Кира лежала на нарах у стены, я сидел рядом на полу, и вдруг я услышал, как струна в сигнале над её головой лопнула. Не дрогнула, как дрожала все эти дни, а лопнула, со звоном, который слышал только я, и серый ноль над её головой погас.

Он погас совсем, на секунду, на две, и я никогда раньше не видел, чтобы он гас. Потом он загорелся снова, ярко, судорожно, и снова погас, и Кира выгнулась на нарах, беззвучно, широко раскрыв глаза, и вцепилась пальцами в доски. Я уже был над ней, и моя правая рука, голая, без повязки, легла ей на затылок, на холодную металлическую шайбу порта, прежде чем я успел подумать.

Сигнал ударил мне в ладонь так, как не ударял никогда. Он был тяжёлый, как вода, которая прорвала плотину, и шёл сплошной стеной, без перерыва, без дрожи, и я подставил под него ладонь и почувствовал, как меня отбрасывает назад, как отбрасывает человека, вставшего под водопад. Я держал её сигнал изо всех сил. Я стоял на коленях у нар и держал, и считал, потому что иначе не мог.

1

2

3

На третьей секунде из носа у меня пошла кровь, горячая, густая, на губы, на подбородок. На пятой зазвенело в ушах, сначала тонко, потом всё громче, и сквозь этот звон я слышал, как кто-то, наверное, Гвоздь, спрашивает, что случилось, и как Лиза вскакивает. На восьмой я перестал видеть, перед глазами поплыли белые пятна, и я держал вслепую, на ощупь, ладонью,

и чувствовал под ней порт, холодный, и её затылок, тёплый, и чип, который метался, как зверь, загнанный в угол.

9

10

11

12

На двенадцатой секунде шунт щёлкнул. Я почувствовал этот щелчок ладонью, как чувствуют поворот ключа в замке, и стена воды над моей ладонью вдруг стала тоньше, стала струёй, стала давлением, ровным, тяжёлым, знакомым. Я убрал руку и упал на пол рядом с нарами, на спину, и лежал, и не видел ничего, кроме белых пятен, и слышал только звон.

Потом звон стал тише, и пятна поблекли, и я увидел над собой серый ноль. Он мерцал ровно, спокойно, над головой Киры, которая лежала на нарах, повернувшись ко мне лицом, и смотрела на меня сверху вниз широко раскрытыми глазами. Лицо у неё было мокрое от пота, губы белые, и она дышала часто, мелко, как дышат после долгого бега.

— Саша, — сказала она хрипло.

— Здесь, — сказал я. Говорить было трудно, во рту было солоно от крови.

Кира протянула руку и коснулась моего лица. Пальцы у неё были ледяные и дрожали, и она провела ими по моей щеке, по губам, мокрым от крови, и посмотрела на свои пальцы, тёмные в красном свете печки. Потом она соскользнула с нар на пол, ко мне, и легла рядом, на холодный камень, и положила голову мне на плечо.

— Двенадцать, — сказала она. — Я считала. Ты двенадцать держал.

— Ты считала?

— Ты считаешь вслух, — сказала Кира. — Шёпотом. Ты не знал?

Этого я действительно не знал. Я лежал на холодном полу нарядной, с её головой на своём плече, и чувствовал, как она дрожит, мелко, всем телом, и как постепенно перестаёт дрожать. Кровь из носа уже не шла, только запеклась на губах, и я облизнул их и почувствовал вкус железа.

Потом Кира подняла голову и посмотрела на меня. Было почти темно, только угли в печке тлели красным, и я видел её глаза совсем близко, тёмные, блестящие, и серый ноль над ними. Она смотрела на меня долго, не мигая, как смотрела в Косой выработке на Сотника, только теперь в её взгляде не было ни холода, ни прицела, а было что-то другое, растерянное, почти испуганное.

Потом она вдруг меня поцеловала. Коротко, быстро, неловко, в губы, ещё мокрые от крови, и сразу отстранилась, и посмотрела на меня снова, как будто проверяла, что получилось. Губы у неё были холодные, сухие, и на них остался вкус моей крови, солёный, железный, и я видел в темноте, как она облизывает их.

— Солёно, — сказала она шёпотом.

— Прости, — сказал я.

— Не надо. — Кира снова положила голову мне на плечо. — Не надо прощения. Ты двенадцать держал. Мне можно.

Я лежал и не мог пошевелиться. Мне казалось, что если я пошевелюсь, всё исчезнет, и камень под спиной, и тепло её головы на плече, и вкус железа на губах. Я обнял её левой рукой, здоровой, осторожно, как обнимают того, кто может сломаться, и она не отстранилась, и мы лежали так на холодном полу нарядной, пока угли в печке не погасли совсем.

Я не знаю, когда Лиза вошла с лампой. Я услышал только, как скрипнули доски нар, на которых спал Гвоздь, и увидел, как у входа в нарядную качнулся слабый жёлтый свет. Потом свет погас, и шаги отошли, тихо, осторожно, и я понял, что Лиза видела нас, лежащих на полу, и ушла, ничего не сказав.

Утром она ничего не сказала тоже. Она проснулась раньше всех, растопила печку, вскипятила воду в жестяной кружке и разлила её по четырём кружкам, и молча раздала. Кира взяла свою, села на нарах, обхватив кружку обеими руками, и смотрела в неё, и не смотрела ни на кого из нас.

Лиза подошла ко мне, когда Кира вышла к стволу умываться. Она села рядом на пол, держа кружку обеими руками, и долго смотрела на угли в печке, и я ждал, что она скажет что-нибудь про ночь, про Киру, про то, что видела. Она сказала мне совсем другое.

— Ты бы хоть спросил её, сколько ей осталось, — сказала Лиза тихо.

Я замер с кружкой в руках. Кружка дрогнула, и горячая вода плеснула мне на пальцы, и я не почувствовал ожога. Лиза по-прежнему смотрела на угли.

— Что? — спросил я.

— Сколько ей осталось, — повторила Лиза. Она не смотрела на меня. — Ты видел, как она вчера. Двенадцать секунд, Александр. Раньше было семь, девять, одиннадцать. Днём сбоит, без укола. Ты думаешь, это просто так? Это вещь, которой двадцать лет. Вещи ломаются. — Она помолчала. — Ты бы хоть спросил. Прежде чем целовать.

Я долго ничего не отвечал. Записка Щупа лежала у меня в нагрудном кармане, и я чувствовал её сквозь ткань рубашки, и думал, что Лиза не знает, что в ней, не может знать, и всё равно сказала то, что в ней было. Она сказала это наугад, как говорят люди, которые слишком часто сидели у постели больных и знают, как выглядит то, что ломается.

— Я знаю, сколько, — сказал я наконец.

Лиза повернула голову и посмотрела на меня. Она смотрела долго, и я видел, как меняется её лицо, как исчезает с него усталая насмешка и появляется что-то другое, тревожное. Губы у неё едва заметно дрогнули.

— Знаешь, — повторила она.

— Знаю, — сказал я. — Не спрашивай.

Лиза долго молчала в ответ. Потом она кивнула, медленно, один раз, и отвернулась к печке, и долго сидела так, держа кружку в руках, и я видел, что она не пьёт. Потом она поставила кружку на пол, встала и пошла к Гвоздю, менять повязку, и больше в тот день не сказала мне ни слова.

* * *

Вечером тридцать третьего дня Гвоздь позвал нас к печке. Он сидел на нарах, с палкой у колена, и держал на коленях лист жести, старый, ржавый по краям, который нашёл где-то в углу нарядной, под нарами. Рядом с ним лежал гвоздь, большой, кованый, с плоской шляпкой, и я понял, что он им рисовал, выцарапывал на жести, как я когда-то рисовал углём для Тихого.

— Смотрите, — сказал он. — Пока помню. А то по дороге забуду, голова дырявая стала после жара.

Мы сели вокруг него на пол. Кира держала лампу, и свет падал на жесть, и я увидел на ней линии, тонкие, светлые, процарапанные сквозь ржавчину до блестящего металла. Линии шли сверху вниз, ветвились, пересекались, и в самом низу сходились к большому кругу, процарапанному глубже остальных.

— Это не карта, — сказал Гвоздь. — Карта на стене. В нарядной у Корней, отец её гвоздём царапал, когда бригадиром был. Я её один раз видел, мальчишкой. Отец меня туда водил, перед тем как Корни закрыли, сказал: смотри, сынок, запоминай, это мы копали. — Он помолчал. — Я запомнил, сколько смог. Это то, что запомнил.

Он ткнул толстым пальцем в верх листа, где линии начинались. Палец у него был чёрный от ржавчины. Жесть под ним чуть прогнулась.

— Вот Южная насосная. Под ней старый ствол, водоотливной, по нему воду качали из Корней, когда Корни ещё работали. Ствол сухой теперь, вода ушла. По нему вниз. — Палец пополз по линии вниз. — Тут горизонт. Тут ещё один. Тут решётка была, замок, отец гово-

рил, что Корни закрыли решётками, когда порода поплыла. Только порода там не плыла. Отец говорил, крепче, чем где-либо.

— Почему тогда закрыли? — спросила Лиза.

— Не знаю. — Гвоздь пожал плечами. — Отец тоже не знал. Сказали закрыть, закрыли. Внизу не спрашивают, сестрёнка.

Я посмотрел на Киру рядом. Она сидела рядом со мной, держа лампу, и смотрела на жесть, и я видел, как у неё чуть сжались губы. Внизу не спрашивают, сказал Гвоздь, и я знал, что она думает сейчас о своём отце, который спрашивал, откуда яблоки.

— А это? — Кира показала на большой круг внизу, процарапанный глубже всех.

— Это основание, — сказал Гвоздь. — Главный. Шпиль. Отец говорил, Корни идут под самое основание, под фундамент. Там стволы, много, глубоко, и все сходятся к одному месту. — Он помолчал. — Отец говорил, что они копали под фундамент, а что там будет, им не сказали. Сказали копать, они копали. Потом закрыли, и никого больше туда не пускали.

— Там сервер, — сказала Кира тихо.

— Может, сервер, — сказал Гвоздь. — Может, ещё что. Я не знаю, Ноль. Я знаю только, что мой отец туда копал, а что он там нашёл, он мне не сказал. Он мне только карту показал. И сказал: запоминай, сынок, может, пригодится.

Он протянул лист жести Кире. Она взяла её обеими руками, осторожно, как берут что-то хрупкое, и долго смотрела на тонкие светлые линии, на большой круг внизу. Потом подняла глаза на меня.

— Под основание, — сказала она. — Саша, слышишь? Под самое основание.

— Слышу, — сказал я.

Я смотрел на жесть в её руках и думал об Аде, о её словах в тёмном тоннеле: я не знаю, где он, никто из нас не знает. Ещё я думал о том, что Кира сейчас смотрит на эту карту так, как смотрела на инъектор, как на что-то, что вернули после того, как думали, что потеряли навсегда. Мне хотелось сказать ей, что Ада не знает, и что, может быть, никто не знает, и что под основанием может оказаться что угодно, и я промолчал.

— Через три дня выходим, — сказал Гвоздь. — Если Лиза пустит.

— Через пять, — сказала Лиза.

— Через четыре, — сказал Гвоздь. — Через четыре, сестрёнка. Больше ждать нельзя. Сотник наверх ушёл, а кто вместо него придёт, не знаю. И Гончий не спит.

Лиза посмотрела на него долго, потом на Киру, потом на меня. Я видел, как она считает, сколько дней у Марка и сколько у Киры, хотя не знает, сколько у Киры, и только догадывается. Потом она коротко кивнула ему.

— Через четыре, — сказала она.

* * *

Ночью Кира снова сидела на холодном камне у ствола. Я вышел к ней, и сел рядом, и она придвинулась ко мне сама, сразу, без колебаний, и положила голову мне на плечо. Жесть с картой Гвоздя лежала у неё на коленях, и она гладила её пальцами, водила по тонким светлым линиям, сверху вниз, от насосной до большого круга.

— Знаешь, что я сделаю, когда его не станет? — спросила она. — Сервера.

— Что?

— Посмотрю в зеркальце. — Она помолчала. — Утром. Подойду и посмотрю. И если там будет что-нибудь, кроме нуля, хоть что-нибудь, хоть чёрное, хоть один день, я буду смотреть на него, пока не надоест.

Я ничего ей не сказал. Я сидел рядом с ней на холодном камне, и её голова лежала у меня на плече, и над ней мерцал серый ноль. В сигнале, давящем на её шунт, тонко дрожала струна, и я слушал её и думал о том, что если не будет сервера, у Киры не будет никакого числа, совсем никакого, потому что шунт держит её только против сигнала, а без сигнала ему держать нечего.

Я не знал, что тогда станет с ней, с её чипом, с её нулём. Я не знал, будет ли она тогда жить, как живут люди, или её чип, выжженный, мёртвый, просто замолчит, и она останется без числа, свободной от того, что висит над каждым из нас. Я не знал, и никто не знал, и Ада не знала, и мне было страшно думать об этом так же, как было страшно думать о месяце, может двух.

Число в верхнем краю моего зрения щёлкнуло, ровно через шесть минут. Я сосчитал, сам того не желая: у Марка триста пятнадцать дней, у Мышки пятьдесят семь, у Киры месяц, может два, минус два дня. Кира спала у меня на плече, с картой Гвоздя на коленях, и дышала ровно, тихо, и я сидел не шевелясь, чтобы не разбудить её, и считал щелчки до утра.